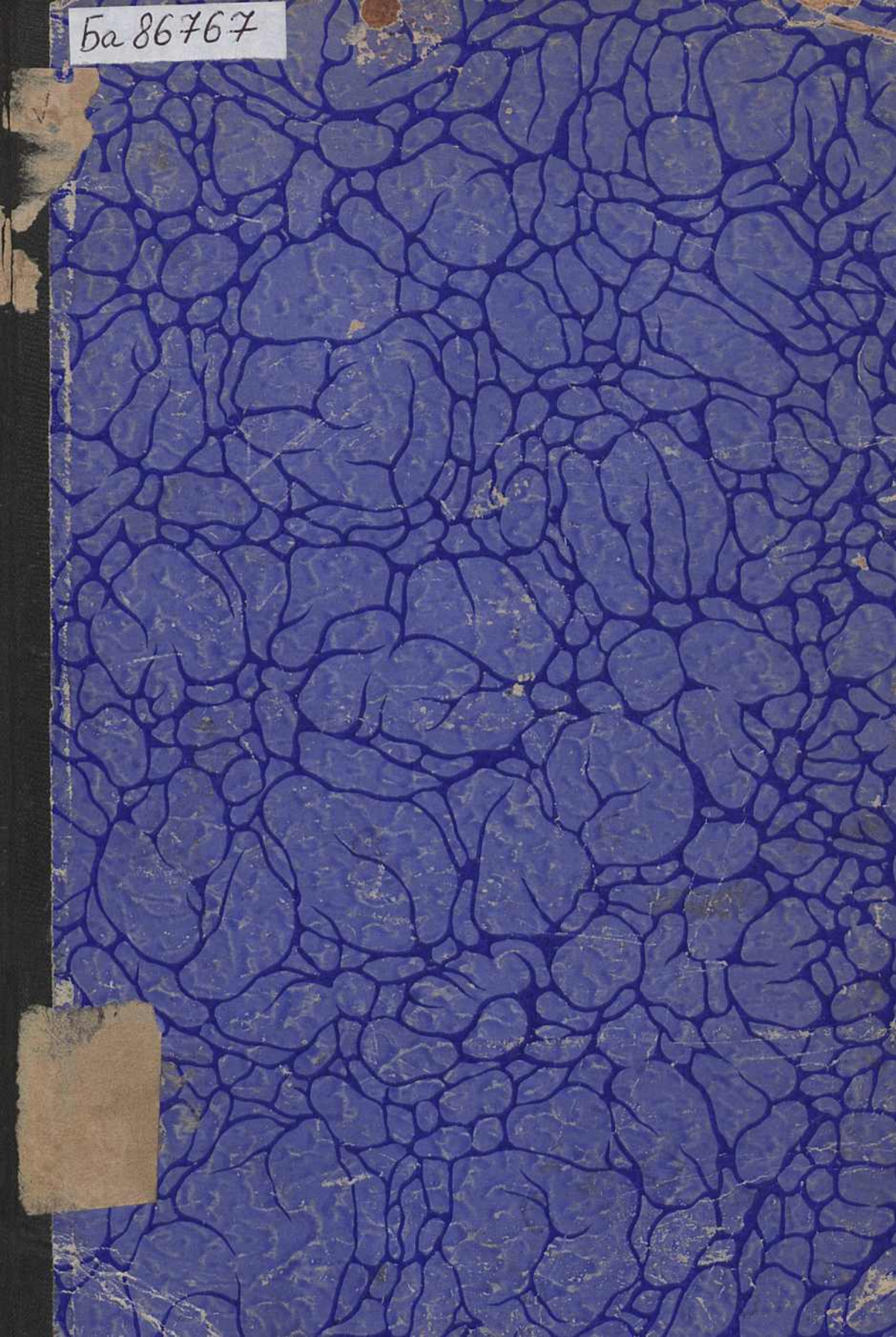


Ба 86767



Бэ 86767

891

мс-73

48

А. Журковичь.

Мильни А

маш

8608

Памяти Э. Б. Оржешко-Нагорской.

Б. 86767

Бел. издание
1994 г.



774

В И Л Ь Н А.

Тип. М. А. Дворжеца, Нѣмецкая ул., д. № 3.

1 9 1 2.

ней в каталоге у автора

с

1858

В. Шенников

Памяти Э. Б. Орженешко-Натерской.



Состояние
1901

1901

АНДРЕ

Том III. Летопись Императорской Академии Наук.

1912

Памяти Э. Ё. Оржешко-Нагорской.



Когда въ 1897 году, назначили меня военнымъ слѣдователемъ въ участокъ виленскаго военного округа, въ составъ котораго входилъ гор. Гродна, то у меня, какъ у писателя, явилось пламенное, прямо непреодолимое желаніе добиться знакомства съ знаменитой польской писательницей, Элизой Оржешко-Нагорской: быть въ Гроднѣ и не видѣть ее было-бы равносильно избитой истинѣ, что явилось-бы преступленіемъ посѣтить Римъ и не попытаться взглянуть на папу.

До того времени я зналъ Оржешко лишь по плохимъ переводамъ ея сочиненій на русскій языкъ,—говорю „по плохимъ“, такъ какъ, конечно, ни одинъ переводъ въ мірѣ никогда не передалъ еще точно и художественно того, что составляетъ, такъ сказать, душу великихъ произведеній лучшихъ представителей литературнаго слова, къ которымъ безспорно должна быть причислена и покойная, съ ея удивительнымъ талантомъ писать, порой, настроеніями, намеками, образами, едва уловимыми духовнымъ взоромъ, очарованнаго художественнымъ развитіемъ основной темы, читателя.

Да. Если нѣкоторыя произведенія Л. Н. Толстого можно сравнить

И въ памяти сердца стиснѣ
Полны дорогія черты
Такого величья святости,
Такой неземной красоты.

(Изъ стихотвореній Вѣры Рудичъ).

съ картинами кисти И. Е. Рѣпина, В. В. Верещагина, написанными подчасъ грубыми, дерзко—опредѣленными мазками, варварски-гениальной кистью, изъ подъ которыхъ врывается въ душу грубая, неподкрашенная дѣйствительность, заставляющая подчасъ зрителя закрывать глаза и затыкать носъ, какъ при посѣщеніи анатомическаго театра, то повѣсти, рассказы и новеллы Элизы Оржешко смѣло можно сравнить съ чудными, нѣжными, тщательно и любовно выписанными женскою рукою, цѣломудренными акварелями, изъ которыхъ даже ужасы жизни и смерти смотрятъ на васъ въ дымкѣ примиряющаго съ ними опоттѣзиванія, сквозь призму неизвѣрившейся, свѣтлой души автора, находящаго у себя силы прощать, миловать даже тамъ, гдѣ, на примѣръ, у Толстого лишь свистъ бича и разрушеніе старыхъ и новыхъ предразудковъ общества.

Если Толстого можно сравнить съ хирургомъ, на полѣ брани немилующимъ хлороформа и другихъ усыпляющихъ средствъ для уменьшенія страданій оперируемыхъ, дѣлающаго ампутаціи, не взирая на стоны и мольбы страдальцевъ, во имя блага ихъ, то

Элизу Оржешко, по отношенію ея къ человѣку, слѣдуетъ назвать сестрою милосердія, старающейся сохранить для больного его раненый членъ, плачущей надъ его страданіями и даже нытающей остановить руку хирурга во имя ужаса больного передъ операцией.

Толстой, несмотря на его упрямую, суровую, прямо безпощадную проповѣдь христіанской, всепрощающей морали, съ этой утопией непротивленія злу и любовью къ людямъ, исходившей изъ ненависти къ человѣчеству въ его массѣ, всю жизнь свою оставался передовымъ бойцомъ христіанской цивилизаціи и литературно - философскій, подвижническій, страдальческій путь его усѣянъ трупами низвергнутыхъ имъ безъ пощады враговъ его идеаловъ, были-ли то отдѣльныя личности, или группы, учрежденія или предрасудки.

Элиза Оржешко, какъ писательница—моралистка, несмотря на неудачныя попытки ея играть въ политику, поучать, обличать и указывать пути человѣчеству, до конца дней ея оставалась мирной, кабинетной идеалисткой, неспособной, по мягкой тепличной натурѣ, на боевыя выступленія, боящейся толпы съ ея грубымъ, скандальнымъ поведеніемъ. То была аристократка пера, въ то время, какъ Толстой точно бравировалъ плебейскими приемами писанія въ послѣднее десятилѣтіе своей жизни.

Оржешко не стыдилась остаться барыней - аристократкой. Толстой былъ въ восторгѣ, когда его принимали за простого мужика, по внѣшности, манерамъ, привычкамъ.

Произведенія Толстого захлопываешь подчасъ съ чувствомъ ненависти къ автору за низверженныхъ имъ кумировъ; но къ нимъ, этимъ страницамъ, точно начертаннымъ нервно и зло концомъ огненнаго меча убѣжденнаго фанатика—обличителя общественныхъ

нравовъ, вась непремѣнно опять потянетъ неудержимая жажда еще разъ пережить жестокія страданія, вызванныя грубымъ, циничнымъ обнаженіемъ вашего собственнаго сердца, вашей совѣсти, вашихъ надеждъ и упованій... Такъ преступника тянетъ къ мѣсту его преступленія, озаряемому уже пытливымъ огнемъ человѣческаго правосудія.

Отъ произведеній Элизы Оржешко чаще всего вы отходите обманутые, очарованные, какъ обманываетъ, очаровываетъ насъ сама жизнь, облеченная въ красивыя формы иллюзій, увлеченій, заблужденій и миражей дѣйствительности. Они, эти волшебныя перспективы, никогда не заставятъ васъ содрогнуться надъ судьбой вашей собственной души, не сдѣлаютъ васъ лучше, не вызовутъ на улицу, на площадь для протеста противъ разврата, насилія, лжи и братоубійства, совершающихся тамъ ежедневно.

Быть можетъ вы и прослезились надъ нѣкоторыми страницами, искренно пожалѣли героевъ и героинь талантливой писательницы, но, въ общемъ, закрывая книгу съ произведеніями Элизы Оржешко, вы выносите изъ нея впечатлѣніе, что жизнь даже нашихъ ужасныхъ дней не такъ уже, въ сущности, страшна и зазорна, сами мы не такіе уже закоренѣлые преступники, какими рисуетъ насъ Толстой, а, пожалуй, и хорошіе, хотя и заблудшіе люди, которыхъ когда либо поймутъ еще, а потому и пожалѣютъ. Едва-ли кто либо перечитываетъ часто творенія Элизы Оржешко—съ цѣлью найти тамъ указанія на новые пути, на новые подвиги: чарующія сказки на темы дѣйствительности интересно посмотреть лишь разъ, много два, чтобы, сохранивъ на долго въ памяти своей поэтической ароматы, въ нихъ таящійся, рваться къ той правдѣ, отъ которой страдаешь,

къ которой возвращается память совѣсти человѣческой.

Прозвище „жестокий, злой талант“, какъ нельзя болѣе идетъ къ Толстому и останется за нимъ навѣки. Новеллы Оржешко можно охарактеризовать произведеніями таланта изящнаго. Въ нихъ много женской болтливости и длиннотъ, придающихъ имъ, однако, особую прелесть дамскаго рукодѣля, но нерѣдко затемняющихъ основную идею. Совѣсть человѣчества (а она существуетъ въ мірѣ, какъ существуетъ Богъ) и черезъ тысячу лѣтъ будетъ возвращать еще къ произведеніямъ Толстого отдѣльныя личности. Но сомнѣваюсь, чтобы къ тому времени кто либо, кромѣ польскихъ энциклопедическихъ словарей (гдѣ, что ни имя, то „знаменитость“) напомнить міру, что тысячу лѣтъ тому назадъ жила-была на свѣтѣ, въ своемъ гродненскомъ домикѣ, польская писательница Элиза Оржешко, передъ дарованіями которой преклонялись ея современники. И для того, чтобы понять многіе повѣсти и рассказы Оржешко понадобятся тогда безчисленныя примѣчанія со ссылками на бытовыя особенности давно - прошедшей эпохи...

Дальнѣйшее сравненіе между этими двумя талантами, которыхъ я имѣлъ счастье знать лично, напрашивается само собою: Толстой создалъ типы, уловивъ счастливо не только сущность явленій проносившагося мимо него потока жизни, но и тѣхъ событій, которые духовный взоръ его пылливо изучалъ въ прошломъ. То былъ прорицатель, пророкъ, мистикъ, заглядывавшій смѣло въ явленія потусторонняго міра. Элиза Оржешко—простите за мое убѣжденіе—при всѣхъ многочисленныхъ литературныхъ трудахъ ея, не создала ни одного типа, который, какъ ея личное открытіе въ тайникахъ души человѣческой, перещель-бы съ

именемъ ея въ потомство. Ей не дано было открывать заѣвы того, что скрыто на благо человѣчества. Въ ней всегда чувствуется простая смертная, глубоко не погружающаяся въ сущность явленій общемірового характера.

Если Толстой поражаетъ насъ дерзновенностью своего психологическаго анализа, то художественный талантъ Оржешко какъ-бы скользитъ по поверхности общественной жизни, точно боясь глубинъ, гдѣ царятъ таинственные полу-мракъ и тишина, гдѣ мерещатся разные гады... Для созданія-же типовъ нужно именно погружаться на дно океана жизни, въ омуты послѣдняго.

„А Мееръ Юзефовичъ?.. А Маковерь?.. А Янкель и другіе типы еврейства, съ такой любовью и теплотой выведенные Элизой Оржешко“?.. воскликнуть мнѣ, въ отвѣтъ, иные ослѣпленные поклонники послѣдней, изъ еврейской среды: „Да развѣ это не типы, не правдивые портреты, сдѣланные съ живыхъ людей?“

„Простите, отвѣчу я вопросомъ-же: а въ развѣ встрѣчали лично, напримѣръ, въ той еврейской средѣ, которую пытается облагородить, поднять до своего польско - христіанскаго аристократизма, поставить въ упрекъ, чуть не образцомъ для нашей, дѣйствительно языческой, жизни, кощунственно зовущейся жизнью по завѣтамъ Христа, великая польская гуманистка нашего времени, такихъ идеалистовъ безъ страха и упрека, каковъ, хотя бы, ея нашумѣвшій Мееръ Юзефовичъ?“

Увы, мы воздаемъ должное роли еврейства въ міровой жизни человѣчества, но ежедневный, горькій опытъ учитъ насъ, что Мееръ Юзефовичъ вовсе не портретъ, написанный съ натуры, а лишь красивая, художественная, кабинетная игра воображенія аристократическаго таланта, сквозь призму об-

ищаго благодушнаго отношенія къ людямъ смотрящаго изъ-за ставколю своей уютной, поэтично обставленной квартиры, и на уличную грязь, и на борьбу за существованіе одичавшей, аполлоидной, незнающей Бога и закона нищеты, и на похоронную процессію, идущую подъ свѣтле хора, въ неблескъ траурныхъ одеждъ духовенства, съ благоухающимъ вѣнчикомъ на прищной колесницѣ. Она красива, увлекательна, трогательна—эта погребальная сцена, но развѣ ею можно охарактеризовать загадочный ужасъ всякой смерти, въположеніе души хотя бы того, кто, переставъ существовать для этой жизни, живетъ уже въ жизни иной? Да и нищія могутъ увлечь художника красотой группировки, нестройной похмотьевъ, особенностями своей жизни. Но развѣ картина можетъ передать правду нищенства, и какъ профессія? Развѣ уличная грязь, блестящая подъ солнцемъ, отражающая въ себѣ синее, чистое небо, перестаетъ быть грязью?

Укажите мнѣ, затѣмъ, хоть на одинъ типъ, яко-бы созданный Элизой Оржешко изъ такъ называемой низшей среды, который не обратился-бы въ посредственную карикатуру при первомъ прикосновеніи къ нему критическаго, опытнаго анализа челоѣка, знакомаго съ этой-же средой не съ точки зрѣнія теоретическихъ утопій?.. Не знаю, не вижу, такъ и не нашель во всѣхъ произведеніяхъ Элизы Оржешко, мною прочитанныхъ, новыхъ идей, новыхъ дорогъ, которыя были-бы давно не указаны челоѣчеству другими.

Даже тамъ, гдѣ она сильнѣе—въ описаніяхъ хорошо изученной польско-шляхетской среды, отчасти автобіографическаго характера, и тамъ Элиза Оржешко не открыла ничего новаго, а лишь повторила то, что другими польскими писателями сказано

иногда и глубже, и талантливѣе, и убѣжденнѣе. А у Толстого—цѣлая галерея удивительныхъ портретовъ на столько общечеловѣческаго типа, точно среди нихъ вы вдругъ, къ изумленію своему, узнаете то самого себя, то своихъ бабушку, дѣдушку, то близкихъ знакомыхъ и друзей. Англичанинъ, нѣмецъ, французъ поймутъ Толстого уже потому, на примѣръ, что на всемъ пространствѣ земной оболочки ежедневно умираютъ, въ духовномъ ихъ убожествѣ, несмотря на все блага современной цивилизаціи, „Иваны Ильичи“, а ужасъ подобной смерти для всего челоѣчества полонъ одинаковаго значенія и предостереженія. Почти во всѣхъ произведеніяхъ Толстого поставлена общечеловѣческая проблема, имъ же разрѣшаемая. А то ли мы видимъ у Оржешко? Изучая Толстого, вы чувствуете, что авторъ давно уже вышелъ изъ тепличной аристократической обстановки личнаго своего уголка—на улицу, въ гущу сѣрой толпы, въ вертепы жизни, въ тайники сердца челоѣческаго, гдѣ живутъ и властвуютъ настоящее горе, непозитивированный развратъ, неприукрашенная смерть и гдѣ подчасъ челоѣкъ считается челоѣкомъ лишь по недоразумѣнію, по общепринятой кличкѣ, для заполненія графъ полицейской статистики.

Въ произведеніяхъ—же Элизы Оржешко, даже въ самыхъ послѣднихъ, на которыхъ отразились неудачи ея личной жизни, разочарованіе, усталость, отчаяніе, угадывается все-же польская аристократка, непонимающая жизни низшихъ классовъ, а если и выходящая ее на страницахъ своихъ произведеній, то подъ уточненнымъ соусомъ такого сентиментализма, такой отвлеченной, христіанской морали, что за этими призраками изысканной ли-

тературной стряпни, подчасъ трудно бываетъ увидѣть, гдѣ кончается личное, сытое благодушiе автора и гдѣ начинается дѣйствительность, неприправленная разными деликатессами художественнаго дарованiя и правда.

Толстого и Оржешко соединяетъ, въ то же время, одинъ общiй недостатокъ: ихъ тянетъ въ области, чуждыя ихъ талантамъ, какое то странное самозаблужденiе: Толстой вообразилъ себя философомъ, Оржешко влекло къ изображенiю той мѣщанской, плебейской среды, которую она менѣе всего знала и не могла понять, уже въ силу врожденныхъ аристократическихъ предразсудковъ и традицiй.

А между тѣмъ, будучи горячимъ поклонникомъ Толстого, какъ гениальнаго творца великихъ произведенiй общечеловѣческой литературы, я любилъ и люблю рассказы и повѣсти Элизы Оржешко съ ихъ узконациональнымъ мировоззрѣнiемъ, причеиъ, подобное совиѣстительство въ душѣ моей двухъ, казалось бы несоизмѣримныхъ, величинъ въ сущности вполне понятно, и вотъ почему:

Кажется, жизнь на каждомъ шагу разворачиваетъ передъ вами безчисленныя, потрясающiя драмы, трагедiи, комедiи и водевилы. Вдумывайтесь, изучайте и поучайтесь! А тянетъ же васъ иногда въ театръ, гдѣ вы заранѣе знаете, что не увидите голой правды жизни, а праздно промечтаете нѣсколько часовъ въ тепличномъ мiрѣ подобiя дѣйствительности, фокусовъ авторскихъ дарованiй, подъ гипнозомъ миражей и призраковъ... Но вамъ хочется забыться, вѣрить въ то, что жизнь не такъ ужасна, что можно прикоснуться къ ней, къ ея грязи, не запачкавъ своего платья, своей совѣсти, своего воображенiя. Талантъ человѣческiй сумѣлъ заставить васъ повѣрить, что гдѣ то далеко, въ невѣдомыхъ вамъ странахъ вселенной, есть же, вѣроятно,

страданiе, очищающее грѣхъ, слезы, искупающiя прошлое, пороки, и ведущiй къ благу ближняго.

И когда, послѣ произведенiй Толстого, беру я въ руки повѣсти и рассказы Элизы Оржешко, то мнѣ кажется, что съ улицы, гдѣ только что разыгралась, на глазахъ моихъ, потрясающая драма человеческой жизни, съ воплями, бранью обезумѣвшей, дикой толпы и полицейскими протоколами, я попалъ въ уютный, благоухающiй, залитый электрическимъ свѣтомъ, наполненный принаряженной и сдержанной, гладко причесанной толпою, театръ, чтобы забыться тамъ на подобiе человѣческой драмы и поплакать слезами, которыхъ хватитъ ровно настолько, чтобы утереть ихъ раздушеннымъ платкомъ и забыть о нихъ при улыбкѣ въ время идущей, позитивной, вслѣдъ за драмой, пустой комедiей.

„Гениальная“ „Великая“... И я же когда-то, быть можетъ, въ чадующемъ увлеченiи миражами и призраками произведенiй Элизы Оржешко, въ благодарности за то, что она дала мнѣ возможность отъ ужасовъ дѣйствительности скрыться въ гостеприимный храмъ ея благоухающаго, женскаго творчества, звалъ ее „великой“, „гениальной“... Особоно въ дни нашей молодости мы всѣ, немцы потомки грѣшнаго Адама, падки на клятвы и увѣренiя въ пылу любовнаго экстаза... Но развѣ можно вѣрить любовному обряду Фаустовъ и Маргаритъ, ежедневно произносимому на всѣхъ концахъ земнаго шара?..

И мало-ли что срывалось съ устъ моихъ, съ моего пера, когда, влюбленный въ душу и талантъ Элизы Оржешко, я, не зная еще ее самой лично, слагалъ по адресу ея поэтическiя серенады? Но даже и теперь я — рабъ ея дарованiй.

Даже теперь, когда ее давно уже нѣтъ на свѣтѣ, когда мерт-

вий, холодный, осунувшийся обликъ ея глядитъ на меня изъ ряда мертвыхъ томиковъ ея многочисленныхъ разсказовъ, повѣстей и сказокъ дѣйствительности, я, благодарно относящійся въ памяти моей къ прошлому, связывающему меня съ этой замѣчательной польской женщиной, повторяю тѣ же слова тѣ же эпитеты: „великая“... „гениальная“...

Но, скажите по совѣсти, если Элиза Оржешко, хотя и переведенная на нѣкоторые иностранные языки, главнымъ же образомъ царящая лишь въ польской литературѣ, гдѣ на нашихъ глазахъ забывается, какъ устарѣвшая и оставшая въ послѣдніе годы отъ современныхъ модныхъ теченій литературы и жизни, „великая“, „гениальная“, то какими же именами окрестить послѣ этого нашего русскаго Л. Н. Толстого, даже изъ гроба будащаго до сихъ поръ совѣсть человѣчества, не дающаго уснуть общественной мысли, переведеннаго на всѣ языки цивилизованнаго міра, находящаго себѣ, во имя общечеловѣческихъ идеаловъ, горячихъ поклонниковъ, преданныхъ послѣдователей, какъ среди европейцевъ, такъ и въ народахъ Азии, человѣка, съ частью произведеній котораго мы, его современники, еще не знакомы, а переписка котораго, еще необнародованная, поскольку доступна она нашему пылливому изученію, раскрываетъ такую трагедію души человѣческой, такую бездну борьбу гения съ его земною оболочкой, передъ которой будутъ содрогаться грядущія поколѣнія.

Жизнь же Элизы Оржешко, какъ она ни прекрасна, ни поучительна, ни трогательна, рисуетъ намъ драму, но драму личную, которая ничему не научитъ, никого не предупредитъ, никого не увлечетъ.

Откиньте художественно-литературный талантъ Оржешко, и пе-

редъ вами явится, въ сущности, заурядная, хорошая, добрая женщина съ азбучной моралью.

Забудьте гений Толстого, и васъ все таки покоритъ, научитъ, увлечетъ трагедія его человѣческаго существованія, даже если бы вы не знали, что передъ вами жизнь Толстого.

Конечно, проведенная мною параллель между Толстымъ и Оржешко не выдерживаетъ самой снисходительной критики. Да проститъ мнѣ ее читатель! Но она оказалась мнѣ удобной при разработкѣ настоящаго сюжета, какъ литературный приемъ для выясненія себѣ значенія Элизы Оржешко въ роли писательницы, гуманистки, женщины, для опредѣленія сущности ея дарованія.

Но жизнь человѣчества выковываютъ не одни лишь титаны мысли, чувствъ, воли, не только люди гения, герои, подвижники. Въ ней играютъ извѣстную, Богомъ указанную, роль и муравьи человѣческаго труда, и бабочки, порхающія по цвѣткамъ воображенія, и зори, и закаты человѣческаго идеализма. Только сочетаніе всего, что есть въ природѣ на благо человѣка, создаетъ жизнь человѣческую, обстановку человѣческаго бытія.

И если у орловъ свои поднебесныя сферы, гдѣ они царятъ, откуда они казнятъ и милуютъ другихъ представителей царства животныхъ, если грозный клетокъ ихъ, донесшійся до насъ изъ-подъ облаковъ, мгновенно возстанавливаетъ въ воображеніи представленіе о власти, мощи, свободѣ, правѣ сильнаго, то развѣ не дороги намъ, смертнымъ, вѣшняя пѣснь соловья, трель лѣсной малиновки, крикъ отлетающихъ въ чужія страны журавлей, даже свистъ синички въ вѣтвяхъ, обнаженнаго осенними непогодами, намокшаго подъ дождемъ, унылаго бора?..

Развѣ въ порывѣ понятнаго ув-

лечения первыми проявлениями наступившей весны не находимъ мы великолѣпными, чуть ли не сверхъестественными по впечатлѣніямъ, на насъ ими производимымъ, первый полевой цвѣточекъ, первую травку, робко колеблюмую вѣтнимъ вѣтеркомъ?..

Всему свое мѣсто, и, когда послѣ грозъ, бурь, ненастій, внесенныхъ безжалостно, грубо въ душу мою Л. Толстымъ, я воспѣвалъ, бывало, тонкое, эфирное, художественное дарованіе Элизы Оржешко, то дѣлалъ это вполне искренно, внѣ какихъ либо параллелей между этими двумя, несоизмѣримыми звѣздами небосвода современной мнѣ культуры.

Ограниченный умъ человѣка живетъ порой сравненіями. Я отдалъ тутъ дань моему человѣческому ничтожеству.

И едва вспоминаются мнѣ главныя произведенія, не такъ давно усопшей, польской писательницы, какъ на умъ приходитъ невольная картина, которой никогда въ дѣйствительности не существовало. Мнѣ представляется, въ мечтахъ, бурное море страстей человѣческихъ, охваченное темной, беззвѣздной ночью судьбы, а на скалистыхъ берегахъ его, этого мятушагося моря, — рядъ сияющихъ маяковъ, зажженныхъ убоженно любящей рукой преходящаго, хрупкаго человѣческаго существа, которому, по волѣ Провидѣнія, суждено было подняться надъ остальными смертными. Чѣмъ темнѣе ночь, тѣмъ огни этихъ маяковъ ярче; чѣмъ ужаснѣе буря, тѣмъ заманчивѣе, отраднѣй ихъ немигающіе, пламенные, дерзновенные, вызывающіе на борьбу огни. Они, эти свѣточки милосердія, предостереженія, указанія пути для заблудшихъ и сомнѣвающихся, далеки отъ тѣхъ путниковъ, утлые челны которыхъ окутываетъ беспощадный мракъ, потрясаютъ удары волнъ и бури. Они воздвиг-

нуты на неприступныхъ скалахъ вѣры, надъ рифами сомнѣній, въ которые бѣшено, пылливо врываются волны самыхъ разнородныхъ человѣческихъ желаній. Но роль ихъ въ жизни путниковъ, конечно, огромна: они напоминаютъ путникамъ о мирной пристани, о томъ, что не все-же вокругъ бушующее, незнающее пощады и человѣческихъ страданій море, а что есть-же тамъ, на далекомъ, невѣдомомъ берегу, поколебать который оно бесильно, какіе-то люди, смертные, временные, подверженные ударамъ судьбы, дрожащія порой за земное свое существованіе и покорные общимъ законамъ природы, но которые все-же спаслись отъ произвола стихій, нашли для себя тамъ и пристань, и кровъ, и любовь себѣ подобныхъ; что не надо, поэтому, и намъ терять надежды, а слѣдуетъ довѣряться дружественнымъ огнямъ идеаловъ, убоженно помня, что и волосъ съ головы смертнаго не падаетъ безъ воли Бога, противъ законовъ божескихъ, что всякій идеаль есть лучъ божественнаго разума.

Элиза Оржешко сумѣла возжечь подобныя свѣточки, и не одна душа отозвалась изъ мрака окружающей жизни на ихъ побѣдные лучи. Кто знаетъ, быть можетъ приплывшіе на ея маяки разочаровались, не нашли того, чего они ожидали на берегу; но уже моменты счастья—порой великое благо заставить человѣка забыться хоть на мгновение—великая заслуга.

И что за бѣда, если она повторила лишь то, что говорили другіе. Отъ этого свѣтъ ея огней не потерялъ ни силы своей, ни значенія.

Да будетъ-же, поэтому, благословенно имя ея!!

Если дарованіе покойной нельзя, конечно, сопоставить съ величіемъ и гениемъ Толстого, то, съ другой стороны, что значатъ и всѣ вмѣ-

етѣ взятыя таланты послѣдняго, хотя-бы, въ сравненіи съ мудростью Божества?!. А общую культуру создаютъ, плечомъ къ плечу, сердце къ сердцу, и Толстые и Оржешки общей товарищескою ихъ работой.

Но не въ одномъ лишь благородно-христіанскомъ идеализмѣ, призывавшемъ въ теченіи многихъ лѣтъ людей на трудъ и подвиги, во имя труда, всеобщаго мира и любви, для осуществленія на землѣ Царства Христова, великое достоинство усопшей польской писательницы, а въ самой сущности той художественной манеры, съ которой набрасывала она свои чудныя, художественныя акварели, т. е. въ томъ, къ чему съ такимъ презрѣніемъ старался относиться, въ послѣднее время, Толстой.

Прежде всего необходимо подчеркнуть неподкупную, чистую искренность отношенія покойной къ сюжетамъ ея произведеній. Всегда сюжеты эти были благородны, возвышенны, трогательны, даже тогда, когда, какъ вы знали, сама писательница не ходила по землѣ на подобіе всѣхъ смертныхъ, а порхала отъ цвѣтка къ цвѣтку чувствъ, впечатлѣній, настроеній, подобно пчелѣ, собирающей только сладкое, нужное для ея далекой восковой ячейки въ ульѣ.

По мѣрѣ того, какъ развѣтывалась передъ вами, напримѣръ, повѣсть страданій еврея Меера Юзефовича, вы ясно сознавая, что такого еврейскаго идеалиста, конечно, никогда не существовало на свѣтѣ, чувствуете, однако, что страдалецъ—еврей не выдуманъ нарочно авторомъ, а что авторъ, въ своихъ блужданіяхъ и исканіяхъ истины, при свѣтѣ общечеловѣческаго всепрощающаго милосердія, въ одинъ прекрасный день дошелъ до такой нравственной галлюцинаціи, что главный персонажъ его повѣсти всталъ передъ нимъ, какъ живой, въ ореолѣ

его человѣческихъ страданій, какъ не можетъ быть въ васъ сомнѣній въ томъ, что, увѣровавъ въ его существованіе, великая писательница оросила сама искренними слезами сочувствія нѣкоторыя наиболѣе потрясающія страницы своей повѣсти, переживая то, что долженъ былъ думать и чувствовать страдающій ближній.

Вы можете вообще спорить съ Элизой Оржешко относительно выбора темъ, трактовки сюжета, степени идеализаціи того или другаго явленія, но вы не посмѣете упрекнуть ее въ предвзятомъ сочинительствѣ на заданныя темы. Нѣтъ, она, какъ древняя Пифія, творила лишь въ тѣ минуты, когда сердце ея разорвалось-бы можетъ быть, на части, если-бы не явилось возможности упиться вѣрой въ то, что ей почудилось хорошаго и божественнаго въ личности, созданной ищущимъ правды и свѣта воображеніемъ.

А, затѣмъ, какой оригинальный, чудный, неподражаемый литературный языкъ, какая чуткость въ описаніяхъ родной, убогой природы, лишенныхъ громоздкости, но полныхъ впечатленій, переданныхъ настолько правдиво, что и читателю кажется будто-бы лѣсъ, описанный Оржешко, благоухаетъ, живетъ своей собственной жизнью, что полуденное небо слѣпить глаза, а вѣтерокъ нашептываетъ вамъ свои легенды. Между природой и человѣкомъ въ описаніяхъ у нея всегда существуетъ тѣсная духовная связь. Но акварели съ натуры писаны настолько одухотворенно, и мастерски, что самая незаконченность ихъ даетъ просторъ собственному воображенію читателя. Пожалуй, это даже не выписанныя до конца картины, а этюды. И, тѣмъ не менѣе, знатоки-любители предпочтутъ ихъ инымъ художественнымъ полотнамъ, гдѣ отдѣлана тщательно каждая травка, но отъ которыхъ не вѣетъ на васъ

загадочною душою природы.

Какая, наконецъ, у Элизы Оржешко, любовь къ своей родинѣ Польшѣ, къ ея незамѣтнымъ героямъ и героинямъ, къ славному ея прошлому! Будучи по духу аристократкой, она нисходитъ здѣсь до благороднаго демократизма. И, что мнѣ всего дороже въ Оржешко, это то, что никогда патриотизмъ ея не становится на ходули, не затемняетъ ея разума, не отодвигаетъ на задній планъ служенія идеаламъ, искусству, не зоветъ къ отомщенію, къ крови, къ забвенію того простаго, но, увѣ, часто забываемаго правила, что вся политика, въ сущности, не стоитъ любой истины, взятой изъ Евангелія, а смерть все и всѣхъ примиритъ въ вѣчности.

Конечно, и Элиза Оржешко, какъ природная полка стараго шляхетскаго закала, переживая волненія, ужасы и подавленіе послѣдняго польскаго мятежа, не оставалась глуха къ судьбѣ своей „ойчизны“, къ ея „мученикамъ“ и „угнетателямъ“, которыхъ цѣнила и понимала по своему.

Она была искренняя патриотка. И никто не упрекаетъ ее за это, за ея предубѣжденіе къ русской культурѣ, къ русской власти, за ея мечтанія о будущей славѣ и о благоденствіи польскаго народа, за ея своеобразное пониманіе исторіи Сѣверо-Западнаго края, съ узко-сектантской, польско-политической точки зрѣнія: самъ будучи патриотомъ, могу ли не уважать этого чувства въ другихъ, даже во врагахъ родины моей, особенно въ женщинѣ?!..

Но развѣ могъ бы я себѣ представить Элизу Оржешко, идущую, напримѣръ, въ польскую банду „до лясу“ съ отточеннымъ оружіемъ въ рукахъ, жертвующую своей дѣвичьей невинностью во имя общаго патриотическаго успѣха, благословляющей молодежь на убійства, на измѣну, насилие, мо-

лящейся Богу съ проклятьемъ на устахъ, по адресу враговъ ея родины?!..

Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ.. Ея свѣтлый умъ не могъ не видѣть обмановъ, ошибокъ и веревокъ, которыя дергали заграничныя, закулисные вдохновители..

На такъ называемый „польскій вопросъ“, равно, какъ и на другіе политическіе вопросы Бѣлоруссіи и Литвы, даже на самое возстаніе 1863—4 годовъ, безъ сомнѣнія смотрѣла покойная сквозь призму того же своего идеализма, какъ бы не видя грязи, крови, слезъ и преступленій, а жаждущая найти однихъ лишь угнетенныхъ, заблудшихъ, страдающихъ, увлекающаяся поэзіей сраженій, походовъ, призраками, созданными пылкимъ ея воображеніемъ, картинами и миражами дѣйствительности.

Недавно въ русскомъ переводѣ вышли воспоминанія Элизы Оржешко, оборванныя, точно съ умысломъ, ея или издателями на 1863 годъ и недающія поэтому, возможности судить о томъ, какъ сама она относилась, во дни молодости, къ безумному возстанію.

Но, будучи знакомъ съ политическими выступлениями покойной, я всегда подозрѣвалъ въ послѣднихъ скверныхъ, нравственно-испорченныхъ людей, старающихся использовать имя, литературный талантъ польской писательницы въ цѣляхъ низменной, узко-эгоистической политики.

Мнѣ лично дорого то, что говоря объ эпохѣ жизни своей, предшествующей возстанію, великая гуманистка не забываетъ отмѣтить откровенно, что ее „все сильнѣе захватывалъ идеаль жизни, съ которымъ дѣйствительная жизнь находилась въ безусловно рѣзкомъ противорѣчьи“.

И тутъ же спѣшитъ пояснить: „Идеаль этотъ я тогда же опредѣлила двумя словами: любовь и трудъ“..

А гдѣ любовь и трудъ, можетъ ли быть мѣсто политикѣ, враждующей съ этими свѣточами жизни? Но развѣ можно сомнѣваться въ томъ, что говоря объ окружающей ея дѣйствительности, покойная осуждала свою среду, свое польское общество, далекое въ тѣ дни отъ идеаловъ любви и труда?

Но человѣкъ, даже самый гениальный, самый чистый и настроенный идеально, все же остается человекомъ, т. е. существомъ со слабостями: при умѣньи и настойчивости легко играть, поэтому, на извѣстныхъ стрункахъ человѣческой его натуре...

Я видѣлъ, напримѣръ, живя въ Ясной Полянѣ, какъ кучка, въ сущности, ничтожныхъ, убогихъ—умственно и духовно—сектантовъ, такъ называемыхъ „толстовцевъ“, при извѣстной системѣ контроля за великимъ угасавшимъ старикомъ, заставляла его продѣлывать пресеріозно вещи, достойныя какого-нибудь темнаго изувѣра-расколника, а не всемірнаго гения.

Несомнѣнно, поэтому, что извѣстная польская среда отозвалась и на нѣкоторыхъ произведеніяхъ Элизы Оржешко, талантъ которой пытались насильственно направить на путь политическихъ авантюръ. И, быть можетъ, въ частныхъ архивахъ современнаго намъ польскаго общества, найдутся автографы покойной, свидѣтельствующіе о томъ, что и она, какъ женщина, впитавшая въ душу свою міазмы послѣднаго возстанія, подъ льстивый, умѣльный подкасъ тайныхъ подстрекателей, съ прямой дороги своего природнаго, художественнаго дарованія уклонялась подчасъ въ сторону, въ дебри политическаго сектантства.

Но исторія укажетъ съ неумолимой правдою, кто, съ какою цѣлью мутилъ здѣсь зеркальную, мирную поверхность ея чистой, возвышенной души, кому надо было и ее, эту чистую идеалистку, дѣлать

соучастницей преступленій противъ идеаловъ „любви и труда“? На то, что покойная была плохая патриотка въ смыслѣ политическихъ возжелѣній партіи польско-иезуитской пропаганды, указываетъ отчасти травля, устроенная противъ нея въ польской печати не такъ-то уже давно, когда ее, гордость, жемчужину польской литературы, всенародно клеймили прозвищами измѣнницы польскимъ идеаламъ, дурной польки, обвиняя въ отсутствіи патриотизма...

Бѣдная, что должна была пережить она тогда, въ эти дни непониманія и зашумѣній, съ сердцемъ, которое до страданія, до безумія любило свою „ойчизну“, но не столько за ея буйно-безумное, сумбурное прошлое, гдѣ народъ игралъ лишь роль подъяремнаго скота, а за ея нивы, лѣса, холмы, за ея маленькихъ, незамѣтныхъ міру героевъ и героинь, за польскую душу, въ которой, несмотря на страсть къ политическимъ авантюрамъ, живутъ задатки великихъ, культурныхъ подвиговъ на благо обще-человѣчества!! Она, радостно привѣтствовавшая русское правительство въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ, т. е. на пути избавленія простаго народа, „быдла“ отъ ига польской аристократіи, была провозглашена врагомъ этого самаго народа...

Развѣ тутъ не замѣчалось явное недоразумѣніе или несправедливость?!...

Не зотъ-ли грубый, несправедливый, горькій упрекъ, брошенный политическими противниками на путь ея литературнаго служенія родинѣ и ближнему, заставилъ въ послѣдствіи Элизу Оржешко говорить не то, что готово было сорваться порой съ устъ ея, отдавать перо свое тому, что недостойно быть связаннымъ съ идеалами любви и милосердія?!

Помню, какъ въ мартѣ 1898 года, послѣ одной изъ интимныхъ бе-

сѣдъ нашихъ въ Гроднѣ, въ ея скромномъ, деревянномъ домикѣ на Муравьевской улицѣ, когда я поднесъ ей мой альбомъ съ просьбой написать туда нѣсколько словъ мнѣ на память, она, увлеченная сюжетомъ нашего разговора, нервно схватила перо и записала въ альбомъ своимъ крупнымъ, размашистымъ почеркомъ слѣдующее исповѣданіе своей вѣры (привожу въ переводѣ съ польскаго языка на русскій):

„Звеньями, которыя связываютъ людей всѣхъ племенъ и вѣроисповѣданій, являются страданіе, заблужденіе и смерть—три акта обще-человѣческой драмы. *Только братство между людьми можетъ создать три другіе звена—взаимную любовь, взаимную помощь и взаимный трудъ.* Когда это сбудется, драма утратитъ значительную долю своей способности вызывать страданіе и ужасъ. Свершится-ли это когда-нибудь?“

Тутъ, какъ мы видимъ, тоже признаніе старухой, уставшей жить, вѣры, какое было сдѣлано ею около 50-ти лѣтъ тому назадъ, въ чаду увлеченія молодостью и политическими вѣяніями польскаго общества. Слышите-ли вы, политическіе фарисеи и лицемѣры изъ лагеря польско-иезуитской пропаганды, что ~~не~~ ненависть, которую съете вы между братскими народами, не политика, которую вы дѣлаете орудіемъ этой ненависти, не праздныя мечты о будущей государственности, которую вы думаете основать насильственно на лжи и чужихъ страданіяхъ, составляютъ основу счастья всечеловѣчества, а вотъ это братство въ сферахъ идеаловъ любви, труда, и неизбежнаго отвѣта „на страшномъ судилищѣ Христа“ о которомъ молить всякая церковь на землѣ, будетъ-ли она православной, протестантской или р.-католической...

Въ подобной записи, сдѣланной убѣжденно и смѣло, въ альбомѣ

русскаго человѣка, въ сущности—вся Элиза Оржешко, съ ея свѣтлымъ умомъ, съ ея сердцемъ, въ которомъ всегда было мѣсто даже врагу, если онъ страдалъ и какъ она, любилъ искренно свою родину...

Нало замѣтить, что въ теченіе ряда лѣтъ, когда имѣлъ я незабываемое, высокое счастье близко знать покойную, изъ нашихъ отношений ею-же самой, по ея почину, были устранены политическіе и религіозные вопросы, хотя мы насчетъ этого и не уговаривались, какъ скользкая, невѣрная почва, на которой можно оступиться и потерять руководящія созвѣздія идеаловъ, намѣченныхъ въ выше—приведенной записи моего альбома.

Правда, какъ мы увидимъ далѣе, и въ наши отношенія прокрадась польско-иезуитская пропаганда.. Но развѣ не вижу я, гдѣ начинается тутъ ея гнусная провокація и гдѣ тепличное царство великой, чуткой женской души, оставшейся до конца вѣрной мнѣ, какъ человѣку и писателю...

Могъ-ли я думать, что между нами встанетъ гр. М. Н. Муравьевъ, имя котораго мы никогда не произносили въ бесѣдахъ и спорахъ на самыя разнообразныя темы?..

Небольшого роста, немного сгорбленная годами, съ лицомъ, пораженнымъ крупными, некрасивыми мужскими чертами, на которомъ высокій лобъ, какъ-бы отражалъ возвышенныя думы, а чудные, большіе, темные глаза являлись выразителями всякаго душевнаго волненія, съ высокой, старомодною прической сѣдыхъ волосъ, еще болѣе отънявшей красоту античнаго лба, точно выточеннаго изъ слоновой кости, съ аристократическими, скромными, сдержанными манерами, съ нервными, выхолонными руками, съ голосомъ—звучнымъ, нервнымъ, пѣвучимъ, спо-

собнымъ подниматься легко до высокихъ нотъ и падать до внушительнаго, проникновеннаго шопота, въ комнатѣ, наполненной картинами, рисунками на темы ея главныхъ произведеній,—признаться, неотличающимися талантливостью польскихъ художниковъ. — среди безчисленныхъ адресовъ, альбомовъ и другихъ юбилейныхъ подношеній со лстывыми, подчасъ вычурными, высокопарными надписями, одна громче другой, въ обаяніи литературной своей славы, какъ-бы равнодушно относящаяся къ всплескамъ этихъ волнъ человѣческаго поклоненія, съ духовнымъ взоромъ, устремленнымъ въ небо, полна чарующей привѣтливостью польской аристократки, представляется мнѣ Элиза Оржешко, едва стараюсь я по памяти воспроизвести себѣ обстановку, подробности нашей первой съ нею встрѣчи.

Въ домикѣ ея замѣчается отсутствіе мужского элемента. Какія-то увядшія дѣвицы показываютъ мнѣ, съ разрѣшенія радушной хозяйки, вещественныя доказательства былыхъ ея литературныхъ побѣдъ. Онѣ же отворяютъ и затворяютъ входныя двери, докладываютъ о посѣтителѣ. . Особая, оригинальная обстановка, напоминающая о томъ, что здѣсь живетъ существо съ опредѣленно - сложившимися привычками и вкусамъ.

Нельзя сказать, чтобы въ небольшихъ комнаткахъ, доступныхъ обзорѣнію случайнаго гостя, было очень уютно. Васъ пугаетъ какъ-бы подчеркиваніе заслугъ хозяйки. Вы все же чувствуете себя у знаменитости, притомъ польки, тогда какъ пришли постучаться лишь въ великое сердце женщины, куда входили уже не разъ, тайкомъ, знакомясь съ его героями въ повѣстяхъ ея и разсказахъ.

Вотъ и Мееръ Юзефовичъ, изображенный на картинѣ съ подня-

тыми руками и другіе персонажи знакомыхъ произведеній. Неужели ихъ выставила на показъ сама Элиза Оржешко?! Или это ея интимный уголокъ, куда впускаютъ не всякаго?..

Хозяйка вышла, чтобы не мѣшать вамъ удовлетворить ваше, быть можетъ, праздное любопытство, за которое совѣсть уже караетъ васъ упрекомъ...

Но вотъ Оржешко опять съ вами; шкафы съ сувенирами заперты; въ окно льются потоки свѣта; дѣвицы, съ видомъ благоговѣйнаго отношенія къ хозяйкѣ, безшумно удалились... Мы одни.. И привѣтливая, полная неожиданныхъ переходовъ, неуловимыхъ порой отѣнковъ, рѣчь польской писательницы льется неудержимой струей.

Боже, да развѣ забыть мнѣ тѣ часы, которая провела я въ этомъ домикѣ, угадывая загадочное значеніе не всегда понятной мнѣ мысли великой польской гуманистки, изложенной на польскомъ языкѣ, впитывая въ себя ароматы ея блестящихъ сравненій, слѣдя за полетомъ ея неисчерпаемой фантазии, а, главное, чувствуя близко, близко біеніе благороднаго сердца. О чемъ только, бывало, мы съ нею не переговоримъ, какихъ только вопросовъ обще-человѣческаго, обще-литературнаго, художественнаго характера мы не коснемся!.. Она разсказываетъ мнѣ о своихъ бѣдныхъ, которымъ благотворить. Я передаю ей мои впечатлѣнія, вынесенія изъ только что произведеннаго слѣдствія.

Знаю, что она все пойметъ, все запомнить.

А какъ проникновенно, доброжелательно умѣла она молчать, вслушиваясь въ вашу рѣчь!..

Когда Элизы Оржешко не стало, я посѣтилъ Гродну, съ цѣлью, не входя въ опустѣвшій домикъ, хоть постоять молитвенно у его, знакомаго мнѣ, подъѣзда...

Тѣ-же окошечки съ бѣлыми за-

навѣсками глядѣли на улицу, тѣ же старыя деревья за постройкой раздумчиво шумѣли надо мною въ вышинѣ. Улица жила, своей обычной, суетной жизнью. А Элизы Оржешко не было со мною! Вотъ почему такъ малодушно, въ тѣ минуты, хотѣлось мнѣ плакать. И сколько воспоминаній поднималось изъ моей скорби, да какихъ еще воспоминаній!..

Но великая душа давно уже улетѣла изъ домика и я ни за что не позвонилъ-бы въ него, по старой привычкѣ, чтобы не увидавать еще разъ всѣ эти юбилейные сувениры, утратившіе свой смыслъ у свѣже-открывшійся, дорогой мнѣ могилы.

Думалъ-ли я, что мнѣ еще разъ, въ текущемъ году, суждено будетъ побывать у Элизы Оржешко среди той „ветоши маскарада“, которой обставлена порою на землѣ смерть замѣчательныхъ людей?..

А это случилось на выставкѣ, устроенной въ Вильнѣ въ память усопшей.

Тѣ-же знакомые альбомы и адресы, та-же дѣвица, на этотъ разъ слащавымъ голосомъ, непонятно, демонстративно-громко, словно для рисовки передъ русскимъ посѣтителемъ, объясняющая польскимъ дѣтямъ о назначеніи Оржешко, любившей людей, жившей для другихъ, трудившейся на пользу человечества...

Надгробные вѣнки, ленты, надписи,—одна напыщеннѣе другой, оставляющія впечатлѣніе политической демонстраціи, которой обстоятельства не дали развернуться вполне въ желаемомъ направленіи..

Евреи были увѣрены, что она, покойная,—на ихъ сторонѣ, и воскурjali ей фиміамы. Еврей Розенблюмъ („К. Льдовъ“) подарилъ ей свою фотографическую карточку съ трескучей надписью, нарочно выставленной такъ, чтобы ее могла прочесть публика—и устро-

ители воображали, что подобная надпись, исходить отъ представителя русскаго или еврейскаго общества. Вотъ и русскій, льстивый адресъ отъ извѣстнаго журнала. А, затѣмъ,—море привѣтствій, выраженій горячаго энтузіазма на польскомъ языкѣ..

Всѣ—и русскіе, и евреи, и поляки считали Элизу Оржешко своей, родной, близкой по духу. И всѣ заблуждались: она принадлежала человечеству.

Не въ этомъ-ли прижизненная и загробная тайна побѣды настоящаго таланта, возягающаго свои маяки во имя вѣчныхъ, общечеловѣческихъ идеаловъ и не признающаго шумиху политики, торгашество не общечеловѣческими убѣжденіями, жизнь во имя разрушенія, а не созиданія?!

Чудная, оригинальная писательница, шедшая всегда на помощь страждущему ближнему, не разбирая національности его и вѣроисповѣданія, идеалистка, искавшая до конца истины, вдругъ исчезла предо мною подъ грудой лавочныхъ вѣнковъ, уже поблекшихъ лентъ и шаблонныхъ надписей..

„А гдѣ-же, думалось мнѣ, гдѣ они, вѣнки съ надписями „измѣнница ойчизны“, „плохая полька“ и т. п., взятыми изъ старыхъ польскихъ газетокъ?.. Ихъ не было, конечно.. Но ихъ жадно, скорбно искало здѣсь воспоминаніе о когда то оказанной несправедливости..

Поляки умѣютъ, когда нужно, забыть недостатки и промахи соотечественниковъ. Они лишь не забываютъ ошибокъ чужихъ національностей.

Недаромъ-же порой всякая посредственность превозносится ими, какъ нѣчто великое, выдающееся, когда служить возвышенію польской культуры.

Была-ли бы сама Оржешко довольна, если-бы могла предвидѣть, что ее послѣ смерти поднесутъ въ Вильнѣ подъ такимъ кисло-слад-

кимъ соусомъ политическихъ мечтаний польско - русскому обществу?

Едва-ли... Нашла-ли она, бѣдная, тамъ за гробомъ, то, что такъ упрямо, такъ жадно, преданно искала здѣсь, на землѣ,—ту любовь, которая объединила-бы хоть на небесахъ все живущее?!

Не знаю... Но позабуду-ли, что мнѣ, русскому, врагу своей „ойчизны“, не спрашивая моихъ политическихъ и иныхъ убѣждений, дружески, по-братски протянула она нѣкогда свою руку только потому, что я былъ писатель и также, какъ она алкала и жаждалъ въ жизни правды!..

Въ то время, когда родная мнѣ газетно - журнальная литература, холодомъ предубѣжденія, недоверія и насмѣшекъ встрѣтила мой первый серьезный поэтический трудъ, какимъ теплыми напутствиями, вслѣдъ за Гончаровымъ, Фетомъ, Полонскимъ и др. корифеями литературы, подарила меня покойная и какъ она боялась за колеблющійся огонекъ моего скромнаго, литературнаго дарованія, предвидя, что бури жизни, общее равнодушіе и непониманіе вотъ-вотъ его задуютъ!!

Послѣ бесѣды съ нею, правда, еще ужаснѣй казался порой мракъ жизни, меня окружавшій, еще безнадежнѣе попытки отдѣльныхъ лицъ, вроде ея, Льва Толстого, осуществить на землѣ неосуществимое, чего не осуществилъ и самъ Богочеловѣкъ, принеся себя въ жертву... И сколько разъ взоры мои устремлялись съ вопрошающею тревогой къ маякамъ, вознесеннымъ тамъ далеко отъ бурь существованія великой польской гуманисткой!..

Господи, дай-же миръ и счастье страдавшей душѣ ея!!

Во время послѣдней русской революціи я былъ въ Смоленскѣ и не переписывался съ покойной. Но мнѣ ясно, издалека, рисова-

лось, что должно было переживать ея чуткое, точно созданное изъ особыхъ тканей, изъ особыхъ нервовъ сердце, когда кругомъ, казалось, все рушилось, а недавніе боги идеаловъ меркли, уходили въ недосыгаемая глубины человѣческаго сознанія, поруганные, осмѣянные, даже испуганные вакханаліей, умственной, нравственной, политической и иной черни.

Не хотѣлось-ли ей, тогда скорѣе, какъ и мнѣ, умереть, чтобы не видѣть, не слышать, не чувствовать? И воображаю, что происходило въ тѣ дни въ ея домикѣ, на Муравьевской улицѣ Гродны, въ убѣжищѣ старой польской аристократки, которая способна была идеализировать лишь избранная единицы низшихъ классовъ, но, конечно, не допускала мысли, чтобы ей когда либо пришлось слиться съ этой чернью, служить перомъ своимъ ея низменнымъ вожделѣніямъ, идти съ ней по одной дорогѣ разрушенія всего прекраснаго...

Богъ судилъ Элизѣ Оржешко пережить въ Россіи два великихъ событія въ жизни возлюбленнаго ею польскаго народа—паденіе крѣпостнаго права и паденіе польскихъ иллюзій, раздавленныхъ безжалостно Муравьевымъ.

Думала ли она дожить, когда либо, до всенароднаго поруганія идеаловъ Христа?..

А это случилось. Бѣдная, бѣдная! Непонятая. Трогательная въ положеніи никому не нужнаго, въ тѣ дни, существа...

Все это еще ярче, большѣ вспоминалось мнѣ на посмертной выставкѣ, гдѣ, якобы, хотѣли изобразить то, чѣмъ была Оржешко.

И среди этой хитро замаскированной лжи изувѣровъ политическихъ партій, среди недомолвокъ, громкихъ фразъ и шаблонныхъ этикетовъ, представилась мнѣ вдругъ тоскующая, разочарован-

ная, протестующая, въ подобной театральной обстановкѣ, тѣнь женщины, которая, наконецъ-то, у источника правды, любви и свѣта, а потому видить хорошо мишуру земного существованія.

Снова вспомнились мнѣ необыкновенные, теперь на вѣки погасшіе глаза, на которые не дѣлалъ даже намека находившійся на выставкѣ портретъ покойной, работы извѣстнаго польскаго художника, — глаза, то разгоравшіеся, бывало, при вспышкахъ быстро смѣняющихся молніеносныхъ, порой прямо дерзкихъ, мыслей, сравненій, то словно угасавшіе подъ налетомъ скорби и сомнѣній, вопросовъ, вызванныхъ моею рѣчью; улыбка, благородно озарявшая грубыя, некрасивыя черты лица до поразительной одухотворенной красоты; голосъ, отражавшій покорно самыя интимныя настроенія.

Припомнились мнѣ наши бесѣды, запись въ мой альбомъ, письма, которыми мы обмѣнивались, рассказы ряда гродненскихъ губернаторовъ о томъ, какъ часто просила у нихъ покойная за сирыхъ и нуждающихся.

Но гдѣ же, гдѣ нищія, дѣти, согрѣтые ея любовью? Гдѣ старики и старухи, польки, еврейки, не умершіе на улицѣ только потому, что о нихъ помнила покойная?!

Куда дѣвалась, наконецъ, женщина, отодвинутая на выставкѣ на задній планъ этимъ идолопоклонствомъ передъ ея талантами?!

Гдѣ душа и „святое святыхъ“ почившей?..

Пришли, какіе то, невѣдомые люди въ священный храмъ и осквернили его похотливымъ прикосновеніемъ...

Но я увлекся общей характеристикой Элизы Оржешко, какъ писательницы, уклонившись отъ главной цѣли настоящихъ моихъ воспоминаній — рассказать русскому обществу про личныя отношенія мои къ покойной.

Итакъ, возвращаюсь къ прерванному повѣствованію... Я уже сознался въ томъ, что жадно искалъ встрѣчи съ нею.

Если что смущало меня тогда при этомъ, то это мысль, какъ откликнется она, польская знаменитость, на первый стукъ моей русской руки въ двери ея домика въ Гроднѣ?..

А вдругъ, думалось мнѣ, встрѣчу я польку-фанатичку, да, пожалуй еще и деовтку, ненавидящую все русское принципиально и только потому, что оно русское!..

Мнѣ больно было бы именно отъ нея, этой интересной женщины съ широкими космополитическими взглядами, съ ея общечеловѣческой любовью и моралью, судя по твореніямъ ея, не исключющей уваженія, симпатій, милосердія даже ко врагу, къ русскому, получить изподтичка ударъ отравленнаго кинжала въ сердце, какъ дань человѣку, который принадлежитъ къ народу, имѣвшему историческое несчастье прекрестить государственную анархію былой Польши, а въ 1863 году погасить и попытку послѣдней вернуться къ этой же анархіи.

Затѣмъ смущала меня самая форма обращенія къ пожилой женщинѣ, писательницѣ, по слухамъ несчастной въ прошломъ и потому замкнувшейся въ личной своей, литературной жизни, со здоровьемъ, уже пошатнувшимся, съ привычками, которыя не деликатно было бы нарушать непрошеннымъ визитомъ.

Общихъ знакомыхъ у насъ не было.

Вхать-ли въ Гродно со спеціальной цѣлью посвѣщенія Элизы Оржешко? Написать ей письмо, объяснивъ пламенное желаніе ей представить? Послать ей какой либо печатный трудъ мой?

Я долго колебался и, наконецъ, рѣшилъ поднести ей, пославъ ее по почтѣ, поэму мою „Картин-

ки дѣтства“, при письмѣ, выражающемъ мое искреннее поклоненіе таланту польской писательницы-гуманитки.

Одно, что смущало меня, это сюжетъ книги, въ которой, описывая мое дѣтство, я рисую жизнь русской, патриотически-настроенной семьи средняго круга, и въ описаніяхъ Вильны бросаю нѣсколько штриховъ, которые могутъ быть непріятны полькѣ-фанатикѣ и девоткѣ, если, въ сущности, подъ писательницей съ широкими, литературными взглядами, скрывается типъ женщины, крайне для меня несимпатичный...

И вотъ, въ февралѣ 1897 г., я послала въ Гродну книгу мою и письмо, а въ послѣднемъ, какъ помнится, извинялся въ томъ, что пишу не по-польски, какъ хотѣла бы, а по-русски, не владея свободно польской, литературной рѣчью.

Съ откровенностью я сознавался, что подобное незнаніе польскаго языка—въ сущности—грубый недостатокъ моего воспитанія, такъ какъ всякій русскій, живущій въ Сѣверо-Западномъ краѣ, особенно служащій, обязательно, по мнѣнію моему, долженъ знать польскій языкъ въ совершенствѣ. Въ то-же время упомянулъ я, что польскій языкъ знаю настолько, чтобы прочесть рукопись и понять ея содержаніе.

Отвѣтъ не замедлилъ, да еще какой отвѣтъ...

„Милостивый Государь“—писала мнѣ Элиза Оржешко 25 февраля 1897 г. по-польски, на бумагѣ съ траурной каймою, своимъ чуднымъ, литературнымъ, своеобразнымъ слогомъ: „прошу извиненія въ томъ, что такъ не скоро отвѣчаю. Ваше милое и лестное письмо, за которое Вамъ сердечное спасибо, получено въ весьма тяжелый моментъ моей жизни. Мѣсяца три тому назадъ я потеряла прекраснаго и горячо любимаго мужа, долго была неспособна чѣмъ нибудь заняться,

и теперь едва начинаю возвращаться къ исполненію обязанностей, связанныхъ съ жизнью. Первою обязанностью считаю выразить Вамъ благодарность за всѣ тѣ добрыя, сердечныя слова, которыя Вы сказали мнѣ въ Вашемъ письмѣ, а также за присылку поэмы, которую я могла прочесть только нѣсколько дней тому назадъ. Это прекрасное Ваше произведеніе я читала вмѣстѣ съ нѣсколькими наиболѣе близкими друзьями и всѣ мы были въ восхищеніи отъ глубины чувства, которымъ проникнута эта поэма, лиризмомъ, превращающимъ нѣкоторыя части ея въ прелестныя пѣсни, богатою колоритностью въ изображеніи природы. Благодарна также Вамъ за предоставленную мнѣ возможность познакомиться съ этимъ произведеніемъ дѣйствительнаго и крупнаго таланта.

Свою фотографическую карточку, о которой Вы просите, посылаю и прошу прислать Вашу, такъ какъ мнѣ хотѣлось-бы познакомиться съ чертами лица того, кто отнесся ко мнѣ съ такимъ большимъ доброжелательствомъ, и надѣлилъ меня столькими эстетическими впечатлѣніями и новыми мыслями при чтеніи его творенія.

Не откажите принять увѣренія въ глубокомъ уваженіи и позвольте еще разъ высказать Вамъ благодарность. Элиза Оржешкова-Нагорская *).

Помню, какъ читалъ я и перечитывалъ эти дорогія мнѣ строки, никому ихъ не показывая, а впитывая въ душу, наединѣ, поэтический ароматъ, отъ нихъ исходившій..

Было отъ чего дрожать, плакать и молиться: великій авторитетъ литературы благословлялъ первые мои писательскіе шаги, звалъ на тернистый путь мучениковъ, подвижниковъ слова!!

*) Какъ это, такъ и другія письма привожу здѣсь въ переводѣ съ польскаго языка на русскій.

Какъ писатель, я точно выросъ въ собственныхъ глазахъ, при этомъ родевленномъ прикосновеніи чужого таланта, уже испытывающаго на себѣ, что такое быть писателемъ въ Россіи, особенно, начинающимъ.

И не удивительное-ли совпаденіе, Л. Толстой, по поводу той-же поэмы, облилъ меня безщаднымъ холодомъ своего литературно-сектантскаго критицизма.

А она ставитъ мой трудъ въ ряды чуть-ли не лучшихъ произведеній литературы этого рода!

Кому-же вѣрить, гдѣ истина?!

Увы, въ дни далекой молодости я еще не сознавалъ, что благородная, спасающая всякое дарованіе, середина таится въ личной совѣсти самого автора, а не въ свисткахъ и аплодисментахъ, встрѣчающихъ опыты его творчества, вышедшіе въ печать.

Я посвѣщилъ, конечно, поблагодарить отзывчивую, но еще невѣдомую мнѣ лично, корреспонденту, намекнувъ, что у меня есть произведенія не только въ стихахъ, но и въ прозѣ.

Въ отвѣтъ — новое, если можно такъ выразиться, еще болѣе теплое, сердечное посланіе, написанное тѣмъ чуднымъ мистическимъ, литературнымъ языкомъ, которымъ, казалось мнѣ, владела только она одна, эта загадочная для меня въ тѣ дни женщина, гостепріимно открывающая великое сердце свое мнѣ, русскому, съ неизвѣстнымъ никому литературнымъ именемъ.

30 марта 1897 г. Элиза Оржешко писала мнѣ:

„Если письмо мое произвело на Васъ хорошее впечатлѣніе и сумѣло заохотить къ новому литературному труду, то это не его заслуга, а результатъ всегда очень впечатлительной природы людей, надѣленныхъ писательскимъ талантомъ. Я не разъ сама испытывала, какъ меня выводило изъ апатіи, отвращенія къ труду одно сердечное

слово или какая нибудь незначительная повидимому случайность. Бываетъ и наоборотъ: какое нибудь ничтожное препятствіе вырвало у меня изъ рукъ перо, какое нибудь ничтожное порицаніе отнимало вѣру въ свои силы. Таковы всѣ мы, у кого Господь зажегъ надъ головою меньшую или большую звѣзду, а сердце создалъ изъ огня и воска. Творческое дарованіе—это такая медаль, съ одной стороны которой больше, чѣмъ обыкновенно свѣта, а съ другой стороны больше, чѣмъ обыкновенно страданія. Поэтому, вѣроятно, одинъ изъ нашихъ польскихъ писателей написалъ: „Наиболѣе счастливы дураки“. Но такъ какъ это счастье бываетъ обыкновенно въ грязи, то ужъ лучше остаться со своимъ несчастьемъ—между звѣздами. Остановитесь между звѣздами—пишите! Въ поэмѣ, которую Вы мнѣ прислали, просвѣчиваетъ прекрасный талантъ. Губить его грѣшно, а ужъ лучше страдать, чѣмъ грѣшить. „Вѣстникъ Европы“ читаю, но только за послѣдніе два года: Повѣстей, а также и вашей, о которой Вы пишете, не знаю. Можетъ быть, Вы мнѣ пришлете? Была-бы весьма благодарна и написала-бы, что о ней думаю.

Естественно, что если судьба когда нибудь заброситъ Васъ въ Гродну, то я буду очень рада лично съ вами познакомиться, такъ какъ сомнѣваюсь, буду-ли я когда либо въ Вильнѣ. Совершенно потеряла охоту къ путешествіямъ, городамъ, товариществу, людямъ и ко всему, въ чемъ проявляется жизнь.

Ожидая Вашу повѣсть, шлю Вамъ увѣренія въ глубокомъ уваженіи и наилучшія пожеланія“.

Тутъ, въ этомъ миломъ, дружескомъ посланіи, былъ и отвѣтъ на вопросъ мой, будетъ-ли мнѣ разрѣшено посѣтить писательницу, если судьба, т. е. служба, заброситъ меня въ Гродну?

Но долго еще мнѣ, по разнымъ причинамъ, не удавалось привести въ исполненіе задуманное.

Признаться, въ душѣ я немного побаивался нашей будущей встрѣчи, которая могла-бы вызвать обмѣнъ между нами мыслей на политическую почвѣ, и, какъ резуль-татъ его, столкновение и взаимное охлаждение.

Между тѣмъ, переписка наша съ Элизой Оржешко не прекращалась.

Я послалъ ей своей рассказъ „Противъ убѣжденія“, напечатанный въ „Вѣстникѣ Европы“,—послалъ не безъ смущенія за сюжетъ его, такъ какъ въ рассказѣ, на фонѣ солдатской, русской жизни, описывались нравственные томленія молодого, только что начинающаго жизнь и службу, въ сущности зауряднаго, офицера, силою обстоятельствъ, вопреки личному отвращенію его къ физическому насилію надъ ближнимъ, принужденнаго наказывать розгами провинившагося подчиненнаго нижняго чина: мнѣ показалось, что подобная тема можетъ дерзко оскорбить нравственное, эстетическое чувство этой польской пуристки, произведенія которой такъ цѣломудренны и чисты, что ихъ смѣло можно давать въ руки самаго незрѣлаго, зеленаго юношества.

„Какъ отнесется она къ подобному произведенію, написанному наодну изъ „низменныхъ темъ“?!. А вдругъ раскается въ первоначально приговорѣ о моемъ да-ованіи!“ думалось съ трево-гою.

„Влагодарю Васъ за новеллу, которую высылаю обратно по поч-тѣ одновременно съ настоящимъ письмомъ“ писала мнѣ 21 апрѣля 1897 г. великая писательница: „Прочитала ее съ живымъ ин-тересомъ. Въ ней много пластики и лирики, особенностей пера, кото-рые и въ Вашей поэмѣ такъ яр-

ки. Типы рельефны, а внѣшній міръ, его тоны и его типъ, яс-ность и меланхолія прочувствова-ны и выражены съ лирическимъ настроеніемъ поэта. Ободренная Вашей предупредительностью (лю-безностью), осмѣливаюсь, какъ ста-рая уже писательница, позволить себѣ оно только замѣчаніе по по-воду этой новеллы, какъ новеллы: слишкомъ много подробностей. Ре-ализмъ отъ этого выигрываетъ, но теряетъ цѣльность (связность). Относится это, однако, только къ фигурамъ людей, но не къ описа-нію внѣшняго міра, которое вамъ удается превосходно. Но два солдата - деншикъ и фельдфе-бель — описаны слишкомъ по-дробно. Хотя есть разный спо-собъ художественнаго изображенія: нѣсколькими штрихами кисти, или-же мелкими, тысячекратными, едва замѣтными, точками и оттѣн-ками. Для поэзіи первый пред-ставляется болѣе подходящимъ; но это дѣло вкуса. Что касается идеи, то не знаю, кто и какимъ образомъ могъ усмотрѣть въ этой новеллѣ отсталость и проповѣдь палки. Напротивъ, происходящая въ душѣ офицера психическая борьба ясно дѣлаетъ изъ этихъ послѣднихъ пережитковъ варвар-ства драму. Ибо извѣстно, что всюду, гдѣ только существуетъ литература, критика, а вмѣстѣ съ тѣмъ и справедливость, они чаще всего являются понятіями, прямо противоположными.

Печатали-ли Вы еще чтонибудь, кромѣ этой новеллы, прозой? Если да, то пришлите мнѣ для прочте-нія! По прочтеніи сейчасъ-же отошлю.

Самыя лучшія пожеланія бла-гополучнаго развитія писательска-го труда и всякихъ житейскихъ благъ“.

Не помню теперь, какую мою брошюру я препроводилъ затѣмъ Элизѣ Оржешко, но слѣдъ о та-комъ подношеніи сохранился въ

отвѣтъ ей мнѣ (отъ 18 іюля 1897 года), гдѣ она пишетъ:

„Я не поблагодарила еще Васъ за брошюру, которую прочла съ большимъ интересомъ. Теперь благодарю вмѣстѣ и за милія слова, только что полученнаго письма. Я теперь нахожусь въ періодѣ работъ передъ выѣздомъ и дорожныхъ приготовленій. Черезъ два три дня выѣду за границу на дѣльныхъ два мѣсяца, частью для леченія, частью для уметвенной (духовной) гигиены и пріобрѣтенія возможности работать зимою, о которой, по разнымъ причинамъ, я думаю съ тревогою. По случаю этого отъѣзда, я такъ и занята, и взволнована, что могу послать Вамъ только нѣсколько этихъ краткихъ словъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ посылаю Вамъ мою сердечную благодарность за выраженныя Вами благопожеланія, а также увѣренія въ глубокомъ уваженіи и самыхъ наилучшихъ, и искреннихъ благопожеланіяхъ“.

Наконецъ-то совершилось то, о чемъ я одно время смѣлъ только мечтать— мое личное свиданіе съ Элизой Оржешко: на просьбу— разрѣшить мнѣ пріѣхать въ Гродну—и лично ей представиться, я получилъ очень любезное приглашеніе, въ которомъ говорилось, что съ удовольствіемъ и благодарностью за память и пріязнь меня ждутъ на другой день, въ 2 часа пополудни. (Письмо ея ко мнѣ 11 марта 1898 г.). А вотъ что рассказываетъ дневникъ мой о нашей первой встрѣчѣ (подъ 13 марта того же 1898 г.):

„Приняла меня Элиза Оржешко болѣе, чѣмъ привѣтливо. Часъ пролетѣлъ незамѣтно въ оживленной бесѣдѣ на темы объ ея сочиненіяхъ, о моихъ произведеніяхъ, о цензурѣ, Львѣ Толстомъ, благотворительности... У Оржешко— оригинальная внѣшность и удивительно умные, черные глаза, при сѣдыхъ, эксцентрично - высоко

взбитыхъ, волосахъ. Говорить она умно, прекраснымъ литературнымъ языкомъ. Я говорилъ по-русски, она по-польски. Сначала, войдя, я заговорилъ по-французски, но сама она предложила объясняться на родныхъ языкахъ. Квартира ея переполнена разными сувенирами-рисунками, альбомами, картинами, адресами, подарками... Видны вкусъ и любовь къ изящному. Оржешко жаловалась, между прочимъ, на Варшавскую цензуру, которая такъ перечеркивала ея произведенія, что она перестала печатать ихъ въ Варшавскихъ изданіяхъ. „Но за годъ“, сказала она: „тамъ произошла перемѣна, и опять стало возможнымъ печататься“. Я замѣтилъ, что мало работаю литературно, такъ какъ имѣю семью и близкихъ, кого опекаю; что выше литературы ставлю сношенія съ людьми, во имя добра, семейныхъ началъ и проч. Она согласилась со мною, замѣтивъ, что быть можетъ, давно сама-бы бросила писать, если бы была русской, французенкой... „Но то обстоятельство, что я—полька“, замѣтила она: „заставляетъ обратить мой литературный трудъ въ обязанность“. Трудъ-же, по мнѣнію Оржешко, только тогда плодотворенъ въ культурномъ смыслѣ, когда въ основу его положена извѣстная идея. По словамъ ея, Л. Н. Толстой одобрилъ два ея произведенія для „Посредника“, чѣмъ она гордится; Ей писалъ Ив. Ив. Горбуновъ (Посадовъ), что Толстой собирался даже къ одной ея вещицѣ написать предисловіе, но что это не сбылось. Говорила еще Элиза Оржешко о томъ, что ее такъ и тянетъ поѣхать къ Толстому, но что годы этому мѣшаютъ. Въ альбомѣ мой записала она очень умную замѣтку*). Фанатичка-ли она въ

* Я привелъ ее уже выше, въ настоящей статьѣ.

польскомъ смыслѣ? Хотя прямо это и не говорится, но проскользнуло въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ. Оржешко, по словамъ ея, недавно устраивала у себя лоттерей въ пользу бѣдныхъ польскихъ семействъ; благотворить полякамъ и евреямъ, но не русскимъ. Она взяла съ меня слово, что я скоро окончу мой рассказъ „Дуэль“ (я передалъ тему, которая ей понравилась) и привезу его ей прочесть; сказала нѣсколько комплиментовъ по моему адресу. Я заговорилъ съ ней объ А. Ф. Кони. Оказывается, что она про него и не слыхивала... Можетъ ли это быть?! Оржешко признается, что не можетъ писать, когда около неѣ кто нибудь двигается: вотъ почему она не въ силахъ диктовать свои работы;—пробовала диктовать, но выходитъ неудачно. Она назвала меня „счастливымъ“—въ виду моего знакомства съ Толстымъ. А я возразилъ ей, что если кто счастливъ, такъ это она, при жизни дождавшаяся и правильной оцѣнки своихъ произведеній, и ихъ роскошной иллюстраціи... По словамъ Оржешко, она не придаетъ значенія литературной славы...“

Если я вынесъ изъ посѣщенія дома польской писательницы самыя пріятныя впечатлѣнія, то и она, повидимому, не была разочарована нашей первой встрѣчей.

Объ этомъ, по крайней мѣрѣ, свидѣтельствуетъ письмо ея ко мнѣ (отъ 7 апрѣля 1898 года), гдѣ она писала:

„Наше краткое свиданіе оставило въ моей памяти длинную свѣтлую полосу. За Ваше расположеніе я очень Вамъ благодарна и хочу превратить это чувство въ дѣло, поскольку это будетъ въ моихъ силахъ. Если Вы захотите прочесть мнѣ вашу повѣсть, послѣ ея окончанія, то Вы найдете во мнѣ слушательницу внимательную, чуткую и добросовѣстную; я

подѣлюсь съ Вами всякимъ впечатлѣніемъ, какое вызовутъ во мнѣ Ваши мысли и чувства. Думаю, что отъ такой совмѣстной работы двухъ умовъ долженъ будетъ родиться лучъ свѣта, какъ отъ встрѣчи двухъ тучъ рождается молнія. Увы, развѣ наши умы, — умы новыхъ людей,—не являются тучами, насыщенными множествомъ вопросовъ, противорѣчій, потерянныхъ вѣрованій, послѣ которыхъ остались одни лишь незажившія раны, сомнѣній, ищущихъ вѣры, стремленій, ненаходящихся удовлетвореній? Есть пословица: „чѣмъ выше, тѣмъ прекраснѣе; чѣмъ ниже, тѣмъ выгоднѣе“. Утонченная цивилизація, обширныя знанія, обостренный критицизмъ подняли насъ высоко, но зато лишили насъ удобства, покая, господствующаго на низахъ.

Ваше желаніе, выраженное въ концѣ Вашего письма, раздѣляю всѣмъ сердцемъ. О если бы когда нибудь пришло время одного надъ всѣми нами пастыря—Христа! Но оно не придетъ до тѣхъ поръ, пока люди не вынесутъ людямъ и народамъ—народамъ справедливаго приговора. Всякій, кто для приближенія этого времени работаетъ, какъ можетъ, является лучшимъ человѣкомъ и снизойдетъ на него благословеніе благодарныхъ поколѣній, болѣе счастливыхъ и лучшихъ, чѣмъ мы; лучшихъ, такъ какъ мы, кромѣ того, что въ несчастіи, живемъ еще и во грѣхѣ. Это весьма широкая тема, исчерпать которую невозможно въ письмѣ, тѣмъ болѣе, что я даже не увѣрена, понимаете ли вы хорошо мой письма.

Примите увѣреніе въ уваженіи и въ самыхъ лучшихъ пожеланіяхъ“.

Еще въ 1897 г. прислала мнѣ Элиза Оржешко книгу свою „Австральчикъ“ съ надписью, что дарить мнѣ свое произведеніе „съ

пожеланіемъ счастья и всего лучшаго въ жизни“.

Когда же мы лично познакомились съ нею и писательница замѣтила, что я иногда затрудняюсь понимать ея рѣчь на отвлеченно-философскія темы, то, вспомнивъ о своемъ подаркѣ, замѣтила мнѣ, что очень желала бы, чтобы по книгамъ ея я научился въ совершенствѣ польскому языку. Въ отвѣтъ на это я заявилъ, что и мое искреннее желаніе въ томъ же заключается.

Приведу еще два письма ко мнѣ Элизы Оржешко, очень сожалѣя, что не нашелъ пока и другихъ ея посланій.

Вотъ какъ откликнулась она (28 октября 1898 г.) „по поводу только что вышедшаго сборника моихъ стихотвореній „Друзьямъ“, ей мною посланнаго:

„Я такъ долго не благодарила васъ за присланную книгу и не отвѣтила на сопроводительное письмо потому, что истекшіе три мѣсяца провела за границею, гдѣ въ цѣляхъ успѣшнаго хода лѣченія мнѣ были запрещены самыя необходимыя и, хотя-бы даже, самыя пріятныя умственныя занятія. Только недавно возвратилась и на меня обрушилась масса работы не только писательской, но и разнаго другого рода, такъ что я не могла улучшить минуту свободнаго времени, чтобы прочитать всю вашу поэзію такъ, какъ я-бы хотѣла; часть я уже прочла и нахожу въ ней то-же, что находила въ произведеніяхъ, съ которыми уже ознакомилась раньше: неподдѣльный, искренній, живописный, благородный поэтическій талантъ. По полученіи послѣдняго письма (отъ 16 сентября) не желаю уже дольше откладывать благодарность за любезную память ко мнѣ, за книгу и за безконечно-пріятное впечатлѣніе, которое она на меня произвела. Впослѣдствіи, когда прочту ее болѣе внимательно всю, я буду имѣть

возможность испытать это впечатлѣніе еще разъ.

Присоединяю къ этой благодарности мое глубокое уваженіе и пожеланіе успѣха въ дальнѣйшей плодотворной работѣ духа“.

16 декабря того-же года я получилъ отъ нее коротенькое письмо.

„Искренно благодарю васъ“, писала она мнѣ: за новое доказательство благосклонной памяти обо мнѣ. Книгу я еще не прочла, такъ какъ я теперь больна, но не желаю откладывать благодарности. Книгу прочту, какъ только буду имѣть возможность прочесть ее.

Не знаю, буду ли я имѣть удовольствіе повидаться съ вами въ Гроднѣ, такъ какъ 24 декабря уѣзжаю въ Варшаву, вѣроятно на недѣли двѣ. Было-бы очень жаль.

„Не откажите принять увѣреніе въ благодарности и уваженіи“.

Еще рядъ лѣтъ дружескихъ между нами отношеній, въ которыхъ не замѣшивалась политика, рядъ свиданій, хотя не частыхъ, но всегда вносившихъ въ душу мою кислородъ чистаго, свѣжаго воздуха и идеализма; свиданій, о которыхъ едва-ли говорятъ мои дневники, такъ какъ жизнь моя и служба бурно осложнились къ тому времени борьбой за правду, отвлекавшей все мои силы и досуги далеко отъ заоблачныхъ мечтаній и иллюзій,—и, наконецъ, случилось то, чего я болѣе всего опасался въ моихъ сношеніяхъ съ Элизой Оржешко:—въ эти отношенія нагло, грубо, непрошенно вмѣшалось виленское отдѣленіе польско-иезуитской пропаганды...

Помню, какъ удивило меня письмо ея (отъ 27 февраля 1902 г.) полученное мною неожиданно, страннаго, загадочнаго содержанія.

„Милостивый Государь, Если у васъ явится намѣреніе побывать въ Гроднѣ, то не откажите увѣдомить меня, въ какой день я буду имѣть удовольствіе видѣть васъ у себя. Постараюсь устранить все

препятствія и сдѣлаю это съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ, что имѣю сильное желаніе поговорить съ вами по одному вопросу, касающемуся васъ и для меня неясному.

Въ ожиданіи вашего увѣдомленія прошу принять увѣреніе въ искренномъ уваженіи. Эл. Оржешко-ва“.

Боже! Какой холодный, оффиціальныи тонъ! Какая загадочность, думаль я, перечитывая нѣсколько разъ эти строки: „Что такое могло случиться въ смыслѣ какого-то недоразумѣнія, вызваннаго мною?“

Поражало меня и то, что обыкновенно ранѣе, Элиза Оржешко отвѣчала лишь на мои письма, а тутъ пишетъ первая, настойчиво вызывая на свиданіе и даже желая точно знать, когда я буду у нея, въ Гроднѣ...

Предчувствіе чего-то недобраго, помнится, сжимало мое сердце; но и уклоняться отъ грядущей встрѣчи у меня не было поводовъ: совѣсть моя, въ отношеніи польской писательницы, была вполне спокойна. Я по-прежнему боготворялъ ея талантъ и общественную, благотворительную дѣятельность.

Не такъ давно передъ тѣмъ я былъ въ Гроднѣ у милой, радужной, интересной писательницы... И о чемъ только, о чемъ съ ней тогда вновь мы не переговорили! Помню, какъ со слезами на глазахъ благословляла она нашего Государя за его милостивое отношеніе къ католической религіи. Ничто, казалось, не предвѣщало надвигающейся на меня бури... И вдругъ, она неожиданно налетѣла, нарушивъ миръ и очарованіе.

Однако, въ силу разныхъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ, долго не удавалось мнѣ побывать въ гор. Гроднѣ и только въ сентябрѣ 1902 года состоялось мое свиданіе съ Элизой Оржешко, какъ непосредственный результатъ ея вышеприведеннаго приглашенія.

Увы, то была моя послѣдняя бесѣда на землѣ съ писательницей, лебединая пѣснь ея симпатій къ моему творчеству!..

Постараюсь разсказать правдиво, какъ и что произошло между нами.

Итакъ, осенью 1902 года я позвонилъ у хорошо знакомыхъ мнѣ входныхъ дверей домика Элизы Оржешко.

Двери отворила, какъ и всегда то дѣлалось ранѣе, одна изъ дѣвиць; но на вопросъ, могу-ли видѣть Элизу Бенедиктовну, она замаялась, пошла съ докладомъ во внутреннія комнаты и, вернувшись, съ какою то загадочно-кислою миной (ранѣе-же она меня встрѣчала съ улыбочками и реверансами) объяснила, что г-жа Оржешко дома, но не можетъ меня принять сейчасъ, а просить посѣтить ее въ тотъ-же день, позднѣе. При этомъ мнѣ былъ назначенъ часъ свиданія...

Я и не подозрѣвалъ въ ту минуту, какая некрасивая ловушка готовилась для меня въ этомъ гостеприимномъ до того, радужномъ, мирномъ домикѣ, какъ для русскаго.

Но вотъ я въ хорошо знакомой мнѣ гостиной. Минута томительнаго ожиданія—и предо мной еще разъ Элиза Оржешко-Нагорская.

Однако, какая въ ней перемѣна: точно я вижу не друга, не горячую поклонницу моего таланта, а строгаго судью, готоваго произнести неумолимый приговоръ...

Если ранѣе чудные глаза хозяйки дома я сравнивалъ поэтически съ Чернымъ моремъ подъ ласкающими лучами южнаго солнца, отражающемъ на гладкой поверхности своей ясное небо и легкія, воздушныя облачка, то теперь, это было то же море, на которое властно бросала свою тѣнь медленно надвигающаяся туча, изрѣдка пронизанная молніями, дышущая холодомъ дождя и града.

„Выпрямленный“ ставъ... Сухое, короткое пожатіе ручки... Металлическія, до того, незнакома мнѣ, нотки въ нервно-дрожащемъ голосѣ... И, когда я по привычкѣ поцѣловаль эту ручку, то не получилъ отвѣтнаго поцѣлуя въ лобъ или въ високъ... Въ гостиной, гдѣ произошла встрѣча, находилась какая-то дама, которой меня не представили.

Въ сосѣдней комнатѣ я увидѣль несколько, точно въ ожиданіи чего то, другую даму; померещились мнѣ двѣ-три другія мужскія и женскія фигуры. Но мнѣ было тогда не до наблюденій: для меня ясно становилось, что въ виду предстоящаго между нами разговора, собраны наскоро и зрители.

Впечатлѣніе заранѣе обдуманной ловушки, въ виду сказаннаго и другихъ признаковъ, все болѣе и болѣе усиливалось.

Тяжелое ожиданіе, предчувствіе грозы; томительная тишина въ природѣ, предшествующая бурѣ. Самая-же буря порой облегчаетъ душу, даетъ выходъ, даже радуется, какъ разъ навсегда разрѣшенное сомнѣніе.

И вотъ буря разразилась надъ моей головою, при томъ съ той стороны, откуда я не ожидалъ ее.

Небольшая пауза... Мнѣ, наконецъ, задается голосомъ, въ которомъ чувствуется упрекъ, сомнѣніе, давно ожидаемый вопросъ:

„Панъ полковникъ... Правда ли... Я не хотѣла этому вѣрить... Но мнѣ сообщили изъ Вильны, будто бы вы основали музей имени гр. Муравьева?.. Правда ли это?“

Ноздри ея раздувались, грудь подымалась высоко; рука, прижатая къ сердцу, точно удерживала біеніе его—изъ боязни, что оно разорвется. А на лицѣ—чувства разочарованія, скорби...

Тутъ, при этихъ словахъ, все сразу же стало мнѣ понятнымъ: незадолго передъ тѣмъ, въ этомъ же году, въ сентябрьской книжкѣ

„Историческаго Вѣстника“, появилась статья моя, въ которой подробно и правдиво описаль я исторію созданія мною въ Вильнѣ Муравьевскаго музея, при генераль-губернаторѣ Троцкомъ, и разные эпизоды, сопровождавшіе собраніе мною по Северо-Западн. краю документовъ для музея. Было тамъ, въ этомъ произведеніи, и нѣсколько фразъ по адресу польско-иезуитской пропаганды и признаніе заслугъ гр. М. И. Муравьева, и картинки изъ жизни современнаго польскаго общества.

Конечно, еще раньше дошли до Оржешко слухи, что я основатель музея.

Такъ вотъ почему темныя очи ея бросаютъ теперь въ меня изъ подъ бровей грозныя молніи, губы ея сжаты, а на гениальномъ открытомъ лбу собрались недовольныя морщинки... Вотъ для чего пондобились свидѣтели нашей встрѣчи... Понимаю, понимаю...

И я приготовился къ должному отпору.

„Да“, послѣдоваль мой отвѣтъ: я основалъ музей имени гр. Муравьева“..

„Вы написали статью, благодарно посвященную этому событію? Я не читала ее. Но мнѣ именно о ней и сообщили изъ Вильны...“

„Да... Написаль“.

Я говорилъ возможно спокойнѣе, сдержаннѣе, смотря прямо въ ея гнѣвныя, скорбныя очи, такъ неприятно озарившія теперь ея всегда блѣдное, некрасивое лицо.

„Вотъ, думалось мнѣ, результатъ того, что никогда въ бесѣдахъ не раскрываль я ей своихъ политическихъ симпатій и антипатій. Неудивительно, что польской идеалисткѣ почудилось, что будто бы я сочувствую угнетенной Польшѣ, способенъ продавать свою родину за привѣтливую улыбку талантливой польки и отрещиваться отъ Муравьева... Проклятая политика!.. — „Но позвольте тогда сиро-

сать васъ, панъ полковникъ“, громила меня, между, тѣмъ Оржешко: „какъ-же это совмѣстилось съ вашими либеральными воззрѣніями, съ вашей возвышенной поэзіей, съ вашими идеалами?.. Создавать памятникъ этому извергу, палачу, кровопійцѣ, вѣщателю — въ видѣ музея!.. Я ничего не понимаю... Разъясните!“.

Я отвѣчалъ ей, имѣя невольно въ виду и тѣхъ слушателей, для которыхъ разыгрывалась въ эту минуту сцена нашей встрѣчи. О, я не сомнѣвался, что между ними сидитъ и гнусный доносчикъ, сообщившій хозяйкѣ о моемъ... ужасномъ, позорномъ, съ ея точки зрѣнія, конечно, преступленіи.

Признаться, съ невольнымъ трепетомъ ждалъ я, что вотъ, вотъ взволнованная хозяйка къ пунктамъ своего, заранѣе обдуманнаго, обвинительнаго акта добавитъ послѣ словъ о созданіи мною, въ видѣ музея, памятника „извергу, палачу, кровопійцѣ, вѣщателю еще фразу—и поработителю моей Польши“,—говору съ невольнымъ трепетомъ, такъ какъ для меня ясно тогда опредѣлилось-бы, что передо мной, въ сущности узкая фанатичная агитаторша изъ лагеря польско-иезуитской пропаганды... а, значитъ, разсѣлся-бы мгновенно и образъ великой писательницы-гуманиски. Но, къ счастью, Элиза Оржешко не произнесла подобныхъ словъ, какъ никогда не произносила ихъ ранѣе, а что дѣлалось въ тайникахъ ея польскаго сердца, въ ту минуту, было для меня, конечно, загадкою.

И во время нашего дальнѣйшаго разговора на эту скользкую, шекотливую тему о Муравьевѣ, Элиза Оржешко осталась по-прежнему той, которая была такъ дорога мнѣ всегда,—женщиной, выше политики ставящей общечеловѣческіе идеалы и служеніе имъ въ жизни. Муравьевъ, видимо, возму-

щаль ее, какъ человѣкъ, какъ натура, по мнѣнію ея, извращенная, поправшая основы ученія Христа и обще-человѣческой морали.

По-прежнему, въ сдержанной, спокойной формѣ я объяснилъ ей, что Муравьевъ, поскольку онъ знакомъ мнѣ на основаніи документовъ и показаній его современниковъ, вовсе не былъ тѣмъ звѣремъ, какимъ рисуютъ его поляки извѣстнаго лагеря, враждебнаго всему русскому; хотя лично мнѣ отвратительна всякая жестокость, даже вытекающая изъ необходимости и любви къ родинѣ; но что, въ сущности, съ точки зрѣнія его жестокости, сильно раздутой польскими эмигрантами, онъ является политическимъ младенцемъ, если сравнить его хотя бы съ Наполеономъ, Бисмаркомъ и другими государственнымн дѣятелями Европы, съ головы до ногъ залитыми человѣческими кровью и слезами. А этимъ преступникамъ, любившимъ свою родину и нарушавшимъ обще-принятые законы воздвигаютъ-же благодарно памятники; документы, относящіеся къ ихъ преступленіямъ, собираются въ особые любовно-устроенные музеи... Время настоящей, спокойной, нелицепріятной исторіи послѣдняго польскаго возстанія еще не наступило; мы слишкомъ близки къ событію, чтобы разобраться въ его причинахъ, обстановкѣ и послѣдствіяхъ... Памятуя объ этомъ-то будущемъ, безпристрастномъ историкѣ муравьевской эпохи, будетъ-ли онъ русскій или полякъ, я постарался собрать по С.-З. краю все, что касается Муравьева, говорило-ли это „все“ „за“ него или „противъ“ него. Въ этомъ отношеніи Виленскій музей имени гр. Муравьева вѣн упрековъ и сомнѣній.

Мое объясненіе я закончилъ словами о томъ, что, впрочемъ, лично я участвовалъ въ созданіи Муравьевскаго музея не только

какъ политическій дѣятель, но и въ качествѣ ревностнаго археолога-любителя, спасающаго всякую старину, не разбирая, къ кому она относится, къ Муравьеву, Костюшкѣ, Стенькѣ Разину и т. п.

И чтобы пояснить Элизѣ Оржешко мою мысль, могущую показаться ей неясной, какъ женщинѣ, стоящей далеко отъ задачъ науки, я разсказалъ ей эпизодъ изъ моего недавняго (лѣтомъ 1901 г.) путешествія за границу.

Въ Вѣнѣ, блуждая въ томительный, жаркій день по какой-то картинной галлерей, я испытывалъ особую тоску при видѣ пухлага, упитаннаго Христа въ разныхъ видахъ на картинахъ, натываясь на сцены, набросанныя по прописямъ узкой, мѣщанской, нѣмецкой морали, на пейзажи со слащавыми настроеніями и условностями. Чувствовалась культура, но культура, идущая совѣмъ иными, изытыми, путями, чѣмъ русская. И къ чувству сиротливаго одиночества, охватившаго душу мою при видѣ этихъ безчисленныхъ холстовъ съ подписями знаменитостей, присоединялось чувство раздраженія, тоска по своему, родному, хотя, быть можетъ, и менѣе бьющему на эффектъ, на проповѣдь морали, но зато говорящему о великомъ народѣ, который не остановился въ исканіяхъ истины на опредѣленныхъ условностяхъ, а ищетъ еще мощно, грубо, сердито исхода своимъ сомнѣніямъ, колеблется въ своихъ вѣрованіяхъ, но алчетъ и жаждетъ правды, бичуя себя и раскрывая міру свои раны.

Помню, какъ мнѣ захотѣлось уйти изъ этихъ казенно-пышныхъ, скучныхъ залъ, отъ этой чопорной, чинной, сонливой нѣмецкой публики на свѣжій воздухъ, давъ себѣ слово не посѣщать болѣе художественныхъ галлерей Вѣны, какъ вдругъ очутился я передъ

огромной картиной кисти польскаго художника Матейки.

До того я видѣлъ творенія этого Краковскаго отшельника-философа лишь въ плохихъ гравюрахъ и литографіяхъ. И тогда уже они производили впечатлѣніе живого, правдиваго, гнѣвнаго слова, упрека, брошеннаго въ современное польское общество.

Теперь же точно всталъ онъ предо мною впервые, какъ художникъ, съ его главными недостатками — отсутствіемъ перспективы, нагроможденіемъ фигуръ и повторяемостью типовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и съ его страдальческой, неугасимой тоскою о прошломъ Польши, съ его искренними слезами о томъ, что, конечно, никогда не вернется, а, если и вернется, то уже безъ ореола былой славы, былыхъ упоеній, былыхъ героическихъ подвиговъ.

Великій патриотъ, онъ отвернулся отъ современной ему польской политики и весь жилъ только въ прошломъ, точно не гениальными, смѣлыми, Рѣпинскими мазками красокъ, а кровью сердца своего, мозгомъ своимъ, нервами, фибрами великой души своей, набрасывая поэмы только былого, давно безслѣдно промелькнувшаго.

Что ни ударъ кисти, то стонъ, вопль, неописуемое страданіе. Что ни фигура, то воплощеніе благородства, мощи, любви къ родинѣ, жажды умереть за нее, вѣры бойцовъ „ойчизны“ въ ея великое будущее... И какой, вмѣстѣ съ тѣмъ, упрекъ, вызовъ настоящему!!..

То, что встрѣтилъ я въ Вѣнѣ, было для меня точно откровеніемъ. Вотъ почему я и рѣшилъ, измѣнивъ маршрутъ, прямо оттуда проѣхать въ Краковъ, чтобы ознакомиться съ другими произведеніями-оригиналами Матейки, посѣтить домъ, гдѣ онъ творилъ, поклониться, быть можетъ, праху его. Зная хорошо исторію и тѣхъ,

кто погубилъ Польшу, могъ ли я не любить, не понимать, не цѣнить такого патріота, каковъ Матейко?!

Черезъ три дня я былъ уже въ Краковѣ.

Не буду описывать моихъ тамошнихъ впечатлѣній и приключеній; ихъ было такъ много, что я и не пытался заносить ихъ въ путевыя книжки моихъ замѣтокъ. Древній Вавель, гдѣ въ пышныхъ гробницахъ точно спитъ исторія Польши. Мастерская Матейки въ домѣ, гдѣ все еще хранитъ слѣды хозяина, который точно ушелъ лишь на время, но вотъ, вотъ вернется къ неоконченнымъ картинамъ. Рядъ его удивительныхъ, потрясающихъ картинъ. Оригинальный городъ. Оригинальные типы и обычаи.

Забудь ли мнѣ все это?!

Конечно, нѣтъ.

Но передавать подробно—значило бы написать цѣлую книгу...

Скажу только, что ко мнѣ, какъ къ русскому путешественнику, вездѣ относились, за рѣдкими исключениями, съ величайшими вниманіемъ и предупредительностью, едва заявлялъ я, что пріѣхалъ поклониться генію Матейки, гробницамъ былой Польши и всему, что собрано въ музеяхъ въ связи съ этимъ прошлымъ: двери музеевъ и картинныхъ галлерей широко, гостепримно раскрывались предо мною даже въ дни, когда они были закрыты для остальной публики. По временамъ лишь чувствовалась затаенная недовѣрие и неприязнь при сдержанной вѣжливости.

Но развѣ вправдѣ былъ я, незнакомецъ изъ Россіи, ждатель распростертыхъ объятій въ городѣ, гдѣ даже въ костелахъ рязвѣшаны изображенія, взывающія къ ненависти и отомщенію?!

Правда, я принесъ сюда съ собой любовь къ братскому народу, уваженіе къ его религіи и куль-

турѣ, преклоненіе передъ его незажившими ранами... Но сколько разъ въ жизни мнѣ на любовь мою отвѣчали злобою!..

Могъ ли я думать, однако, что тутъ въ Краковѣ, мнѣ, избѣгающему вообще по принципу говорить съ врагами моей родины на политическія темы, придется произнести публично грозное, ненавистное здѣсь имя гр. М. Н. Муравьева?..

А такъ и случилось, при томъ подъ сводами Ягеллоновской бібліотеки, гдѣ, какъ въ учрежденіи ученомъ не должно бы быть мѣста политическимъ воспоминаніямъ и спорамъ.

Меня ввели въ бібліотеку, когда ее осматривала уже группа поляковъ, мужчинъ, дамъ, юношества—человѣкъ 10—15, при чемъ присоединившій меня къ этой группѣ господинъ, не безъ умысла и злорадства объявилъ, что я—русскій, не говорящій по-польски, на что я тутъ же возразилъ:

— „Къ чему такой анонсъ? Я отлично зато польскую рѣчь понимаю“.

По правдѣ сказать—меня неприятно удивила эта выходка: продиктовало ли ее желаніе уколоть меня, какъ представителя известной національности, или надо было понимать тутъ предостереженіе окружающихъ отъ непрошеннаго гостя, въ которомъ предполагается врагъ—шпіонъ?

Все шло во время осмотра благополучно, пока насъ не ввели въ комнату (или комнаты—теперь хорошо не помню), гдѣ сосредоточены разные сувениры, имѣющіе связь съ послѣднимъ возстаніемъ и польскимъ вопросомъ въ Россіи—въ широкомъ смыслѣ этого выраженія.

Я зналъ уже давно, по книгамъ, о томъ, что именно собираютъ въ Краковѣ противъ родины моей польскія заграничныя ученныя учрежденія и потому приготовился

ко всякаго рода случайностямъ, давъ себѣ слово молчать и не вызывать скандала. Тѣмъ не менѣе, одна картина талантливаго польскаго художника, насколько помню, изображавшая казачій разбѣдъ, возвращающійся въ 1863 г. съ набѣга, очевидно, на какойнибудь костель, бросилась мнѣ въ глаза тенденціозной неправдою, при томъ въ такой степени, что я не могъ удержаться, чтобы не воскликнуть вполголоса:

— „Какая клевета на Россію, на русскую армію! Какая неправда!“

При подобной характеристикѣ художественнаго произведенія, только что особо рекомендованнаго вниманію посѣтителей, руководившимъ обзорѣмъ господиномъ въ качествѣ правдивой характеристики дѣятельности русскихъ при подавленіи послѣдняго возстанія, изъ окружавшей меня группы раздалась нѣсколько возгласовъ не то протеста, не то изумленія, — возгласовъ, въ которыхъ чувствовалась и дѣланная жалость ко мнѣ, русскому, осмѣливающемуся публично отрицать то, что вѣдъ сомнѣній.

Если представить себя на моемъ мѣстѣ среди несомнѣнныхъ, принципиальныхъ недруговъ всего русскаго, то едва ли кто либо позавидовалъ бы моему тогдашнему положенію.

Но нѣтъ ничего слаще, какъ врагамъ же, несмотря на ихъ положение и численное превосходство, сказать въ глаза истину, которая убѣжденно выношена въ горнилѣ личной совѣсти. Еще выше наслажденіе, когда на ненависть и неправду можешь отвѣтить имъ съ любовью, прощеніемъ и пониманіемъ источниковъ ихъ недоброжелательства.

„Какъ клевета?“ — оборвалъ меня проводникъ, — вѣроятно, одинъ изъ служащихъ въ библіотекѣ.

— „Да, клевета.“

Возможно спокойнѣе изложилъ я,

что, конечно, единичные факты грабежа и злоупотребленій со стороны русскихъ войскъ могли имѣть мѣсто и во время возстанія, какъ это бывало въ эпоху всѣхъ войнъ, у всѣхъ народовъ; но чтобы цѣлый отрядъ цивилизованной націи совершилъ грабежъ и въ шутовскихъ одѣяніяхъ изъ награбленнаго, съ побѣднымъ видомъ возвращался бы къ себѣ домой, этого быть не могло и не было... Жаль, что художникъ запачкалъ свой талантъ, посвятивъ его тенденціозной неправдѣ!..

— „Откуда это вамъ извѣстно?“ послѣдовалъ проницескій вопросъ: „вы, вѣрно, хорошо знакомы съ исторіей послѣдняго возстанія, съ обычаями муравьевскаго времени?“

— „Да, знакомъ.“

И, чувствуя на себѣ насмѣшливые, враждебно-ликующіе взоры окружающихъ, я, громко, убѣжденно и съ умысломъ растягивая слова, добавилъ: „Кому же знать это, какъ не мнѣ, создавшему въ Вильнѣ Муравьевскій музей?“..

Едва вырвалось у меня это признаніе, какъ новые возгласы ужаса и сожалѣнія раздались изъ группы по моему адресу.

— „А это тоже, по вашему, клевета?“ — со злобой спросилъ руководитель осмотра, видимо смущенный моимъ поведеніемъ и желающій уклониться отъ спора на щекотливую тему..

И презрительнымъ жестомъ указавъ онъ мнѣ на бумагу, повѣшенную тутъ же, на стѣнѣ, чуть ли не въ особой рамкѣ подъ стекломъ.

Я прочелъ текеть казеннаго документа: какой то (если не ошибаюсь) русскій уѣздный исправникъ объявляетъ пѣвицѣ, спѣвщей, во время концерта, романсы на польскомъ языкѣ, что она, въ силу особыхъ распоряженій начальства, имъ штрафуется на такую то сумму. Пѣвица, надо ду-

мать, и препроводила эту бумагу въ Краковъ на посрамленіе насъ, русскихъ, какъ доказательство нашего варварства, отсталости и т. п.

Мнѣ ничего не оставалось, какъ вслухъ отмѣтить, что въ данномъ случаѣ русскій исправникъ, чиновникъ, лишь слѣпо исполнялъ, какъ подчиненный, приказаніе высшей власти въ краѣ, почему достоинъ всякаго поощренія и что едва—ли особый культурный подвигъ совершила польская пѣвица, вопреки существующимъ запрещеніямъ, нарочно спѣвшая польскій романсъ, зная, что за это ее непременно оштрафуютъ, но, вѣроятно, наслаждаясь ролью мученицы варварскаго государства.

— „А это не варварство?“ обратили вниманіе мое на нѣсколько вывѣшенныхъ въ бібліотекѣ русскихъ объявленій съ подписями „говорить по польски воспрещается“, несомнѣнно выкраденными польскими патриотами въ русскихъ учрежденіямъ С.-З. края.

Не помню теперь, что отвѣчалъ я на подобные „человѣческіе документы“, но видимо мои возраженія ускорили осмотръ этихъ и другихъ такихъ же сомнительныхъ сокровищъ бібліотеки, и мы, наконецъ, очутились въ комнатѣ, гдѣ помѣщается, по увѣренію представителя бібліотечной администраціи, деревянная скамейка чудной работы для молитвы *prigie-Dien* и молитвенникъ польской королевы Анны Ягеллончикъ.

— „Какія же у васъ доказательства для того, чтобы утверждать, что вещи принадлежатъ именно этому лицу?“ спросилъ я. Меня стали уже раздражать разныя безымянныя вещи, которымъ развязно приписывалось историческое значеніе.

— „Какъ, какія?“ И мнѣ привели нѣсколько соображеній, на мой взглядъ, весьма сомнительнаго свойства.

Такъ какъ у меня привычка, при посѣщеніи собраній старины, будутъ ли то русскіе или польскіе музеи, жертвовать изъ моихъ коллекцій то, что наиболѣе подходитъ къ данному учрежденію, то я заявилъ, что охотно жертвую, въ дополненіе къ сомнительнымъ, по происхожденію, вещамъ подлинный автографъ королевы Анны, присоединивъ къ нему заодно автографы Адама Мицкевича, Кэстюшки, польскихъ королевъ писателей, рисунокъ Мицкевича и т. п.

Я не ожидалъ того эффекта, который подобное заявленіе вызвало среди окружающихъ.

У меня, русскаго варвара, муравьевца, нестыдящагося публично сознаться въ созданіи Муравьевскаго музея, оправдывающаго насиліе исправника, — подобныя сокровища!.. Я готовъ ихъ отдать въ польскую бібліотеку, гдѣ собраны на скорую руку реликвіи послѣдняго польскаго возстанія, а въ числѣ ихъ такъ много правды (конечно, правды съ польской точки зрѣнія) опять таки о варварствѣ русскихъ, Муравьева!.. Было чему изумиться, чему недоувѣрять...

„Но позвольте узнать, какъ ваша фамилія? Кто вы такой? Откуда у васъ могутъ быть подобные документы!“ сыпались вопросы.

Надо замѣтить для полноты впечатлѣнія, что я былъ въ штатскомъ, довольно потрепанномъ, костюмѣ. На лицѣ моемъ не было, конечно, написано, что я—полковникъ, писатель, собиратель старины и проч.

Нечего объяснять, почему я отказался назвать себя.

Въ результатѣ, однако, двое молодыхъ людей изъ группы, съ которой я путешествовалъ по бібліотекѣ, тутъ же представились мнѣ и любезно взялись быть моими чичероне по достопримѣчательностямъ Кракова: это было для меня знакомъ одержанной мной нравственно побѣды и лаврами откоро-

веннаго признанія моего относительно муравьевскаго музея.

Мало того, оба приѣхали, по собственному ихъ почину, провожать меня на вокзалъ, когда я убѣждалъ изъ города, благодарно унося съ собой образъ великаго энтузиаста—патріота, пѣвца въ краскахъ былой Польши Матейки.

Несмотря на то, что мы обьянялись съ симпатичными поляками каждый на родномъ языкѣ, тепло было наше разставаніе и прощальное пожатіе руки.

Конечно, вернувшись въ Вильну, я немедленно же послалъ въ Ягеллоновскую бібліотеку то, что обѣщаль и получилъ оттуда въ отвѣтъ сердечную благодарность. А какъ результатъ сношеній моихъ съ ученымъ учрежденіемъ, завязалась у меня интересная переписка съ извѣстнымъ профессоромъ Естрейхеромъ.

Все то, что сейчасъ было изложено мною въ общихъ, сжатыхъ чертахъ, хотя нѣсколько подробнѣе, рассказалъ я Элизѣ Оржешко, а, значитъ, и тѣмъ, кто сидѣлъ теперь, затаившись, по убѣжденію моему, въ сосѣдней комнатѣ, и слушалъ насъ, т. е., вѣрнѣе сказать, подслушивалъ, предвкушая, вѣроятно, сладость момента, когда, такъ сказать, припертый къ стѣнѣ вопросомъ хозяйки-патріотки, окажусь въ положеніи посрамленнаго, избобленнаго(?) опозореннаго врага.

По мѣрѣ того, какъ развивалось, однако, мое повѣствованіе и попутно становилась ясна идея моя, съ рассказомъ моимъ связанная, лицо Элизы Оржешко какъ бы прояснилось и Черное море ея очей стало по временамъ отражать, какъ въ былые дни нашихъ съ нею свиданій, то лазурь яснаго неба, то звѣзды тихой южной ночи... Видимо, гроза въ благородномъ, чуткомъ сердцѣ стихала, а въ душѣ воцарялось пониманіе того, почему, оставаясь лирикомъ-

потомъ, сочувствуя обще-человѣческимъ идеаламъ, сознательно создавалъ я въ Вильнѣ музей имени гр. Муравьева. Чувствовалось, что по отношенію ко мнѣ возстановлялось прежнiе уваженіе и любовь. Да развѣ могъ я мечтать о любви со стороны польки-патріотки,—я, хорошо изучившій цѣну иныхъ польскихъ симпатій вообще?!. Признаться, если бы какой либо полякъ сказалъ мнѣ, что любить меня, какъ русскаго, со всѣми моими убѣжденіями и взглядами, то я заподозрилъ бы здѣсь или заднюю мысль, или гадкую лесть. Меня удовлетворяетъ, если поляки уважаютъ меня.

Когда-же я кончилъ, Элиза Оржешко откровенно сказала, что до сихъ поръ совершенно не думала, что можно смотрѣть такъ широко на нѣкоторыя вещи.

Тутъ, въ этомъ признаніи уже звучали для меня первыя нотки прощенія, грядущаго примиренія...

Но ее смущала еще, по ея признанію, „кукла“, „идолъ“, воздвигнутый въ Вильнѣ въ видѣ бронзовой фигуры Муравьева: „Зачѣмъ онъ? Кому былъ нуженъ?“

Я поспѣшилъ замѣтить, что, конечно, лучше было бы десятки тысячъ, истраченныхъ на памятникъ гр. Муравьева, употребить, на какое нибудь благотворительное, просвѣтительное, учрежденіе, хотя бы его имени, въ память его заслугъ мирнаго, культурнаго характера, оказавшихъ С.-З. краю.

„Культурнаго?“ выразила скорбно Элиза Оржешко свое сомнѣніе, и, отбросивъ воспоминанія о Муравьевѣ, хотя все еще не сходя съ политической почвы, перешла на другіе злободневные вопросы.

Вотъ что записано въ дневникѣ моемъ (подъ 30 сентября 1902 г.).

Мы долго спорили и повидимому Оржешко успокоилась, поняла меня. Она даже заинтересовалась содержаніемъ Муравьевскаго му-

зая. Затѣмъ мы заговорили о назначеніи генераль-губернатора, смерти генерала Гурчина, о моемъ заграничномъ путешествіи, Краковѣ и т. п. Гурчина Оржешко считаетъ „дурнымъ полякомъ“, недостойнымъ тѣхъ торжественныхъ похоронъ, которыя устроили ему въ Вильнѣ католики. Я сказалъ, что это былъ лучший козырь въ рукахъ р.-к. духовенства для блестящихъ похоронъ, пѣнья на улицѣ, процессіи, выноса хоругвей и проч. Мною высказана была мысль, что въ сущности вся исторія Польши—доказательство легкомыслія, нервности, непостоянства взглядовъ поляковъ и отсутствія у нихъ политическаго такта и мѣры. Въ подтвержденіе привелъ я исторію отношенія поляковъ къ Россіи. Русское правительство время отъ времени, въ видѣ опытовъ, шло на уступки. Но какъ только ослабляло оно возжи, поляки поднимали носъ, начинали демонстративно задѣвать русскихъ и пугать призраками возстаній. Такъ было передъ мятежомъ 1831, 1863 годовъ, передъ назначеніемъ въ С.-З. край генераль-губернаторовъ Оржевскаго, Троицкаго, кн. Святополкъ-Мирскаго. Сколько разъ возникалъ въ Петербургѣ вопросъ объ уничтоженіи виленскаго генераль-губернаторства, и каждый разъ сами поляки себя портили. Напримѣръ, когда умеръ генераль Троицкій, рѣшено было упразднить генераль-губернаторство. Но сейчасъ-же начались ксендзовскія выходки. Устроена была сельско-хозяйственная выставка—въ видѣ польской демонстраціи—съ конфедератками, създами ксендзовъ, сеймами и сеймиками—тайными и открытыми. Изъ Вильны въ Петербургъ полетѣлъ сейчасъ же официальный докладъ о состояніи мѣстныхъ умовъ. А въ результатъ—новый генераль-губернаторъ... Оржешко даже смѣялась той картиной, которую я нарисовалъ, не

жалѣя красокъ, съ безпощадной правдою. Она оправдывала поступокъ епископа Звѣровича, находила, что полякамъ, съѣхавшимся на сельско-хозяйственную выставку, не слѣдовало заниматься предметами, ничего общаго съ сельскимъ хозяйствомъ не имѣющими, увѣряла, что ненавидитъ конфедератки; но подобнымъ мелкимъ фактамъ проявленія польскаго духа она не придаетъ значенія, считая все это пустяками. Въ дальнѣйшей бесѣдѣ Оржешко очень хвалила новаго гродненскаго губернатора П. А. Столыпина (видимо, пока по слухамъ), вспоминала о своихъ поѣздкахъ въ Краковъ, говорила, что придаетъ большую цѣнность обломкамъ старины. По ея словамъ, кто-то подарилъ ей кусокъ древняго камня, а у нее захватываетъ духъ при мысли, что на этотъ камень, быть можетъ, ступила нога Марка Аврелія... Я заговорилъ на тему, что, по моимъ наблюденіямъ, съ годами, отношенія между русскими и поляками улучшаются, какъ-бы шлифуются, точно тотъ древній камень, о которомъ она говорила, отполированный временемъ и стихіями; что мы, дастъ Богъ, доживемъ еще до примиренія. Она отвѣчала мнѣ, что лично не надеется дожить до подобной эпохи; что сердце ея плохо работаетъ; что ей осталось недолго жить; но что она отъ души желаетъ, чтобы я порадовался въ будущемъ, если мои надежды осуществятся. Память у нея прекрасная: она, напримѣръ, вспомнила одинъ мой разговоръ съ нею о Л. Н. Толстомъ, который былъ два года тому назадъ. Оржешко признается, что пишетъ мало; интересовалась моими новыми литературными работами; замѣтила, что женщины вообще болѣе постоянны въ литературныхъ трудахъ, чѣмъ мужчины, жизнь которыхъ сложнѣй, которые отвлекаются вопросами,

политики, службы, дѣлами и т. д.“.

Въ заключеніе замѣтки мною записано было такое общее впечатлѣніе, отъ этой послѣдней бесѣды съ великой польской писательницей-гуманисткой.

Вотъ, что я писалъ тогда:

„Давно не говорилъ я съ полякомъ такъ откровенно, какъ въ этотъ разъ, зная по опыту, что поляки, осуждая вообще все наше, русское, въ тоже время болѣзненно-шепетильны, когда коснешься ихъ собственныхъ недостатковъ или заблужденій и ошибокъ. Но Орженско, повидимому, исключеніе: съ ней можно говорить откровенно и честно. Это—чуждое, великое, доступное для правды, сердце. Мы разстались очень дружелюбно и любезная хозяйка просила меня бывать у нее почаще, при моихъ пріѣздахъ въ Гродну“.

Помнится, мы бесѣдовали еще на тему о непримѣнности шаблонныхъ обще-человѣческихъ мѣрокъ къ дѣламъ государственнаго строительства, т. е. въ защиту гр. Муравьева говорилъ собственно я.

Мысль моя была та, что хорошо мечтать, предаваться иллюзіямъ и философствовать на подобіе гр. Л. Н. Толстого, имѣя уютный, обезпеченный уголокъ, громкое имя, любящую семью, учениковъ, всеобщее поклоненіе, а, главное, будучи огражденнымъ отъ всякихъ случайностей и злой воли ближнихъ силою той самой государственной власти, которую теоретически, ни за что не отвѣчая, отрицаешь. Но вотъ поставить-бы любого идеалиста въ положеніе государственнаго челоуѣка, разрѣшающаго на практикѣ проблемы современнаго общества, да при томъ съ отвѣтственностью за общій миръ, благоденствіе и счастье... Что бы онъ запѣлъ тогда, подобный кабинетный утопистъ? Идеалы хороши, какъ далекія звѣзды, указывающія намъ путь; жить безъ нихъ

невозможно. Однако, идя къ нимъ, на ихъ маяки, для того, чтобы не упасть въ грязь жизни, не надо забывать, что и сами мы, и все масъ окружающее, подчинены и вѣстнымъ общимъ физическимъ законамъ, нарушеніе, игнорированіе которыхъ влечетъ для всякаго смертнаго, будь то Толстой, или надшая женщина изъ его путешествій по притонамъ разврата, немедленное-же наказаніе—возмездіе. Хорошо осуждать Муравьева, какъ политическаго дѣятеля, изъ кабинетовъ и будуаровъ. Но невольная молитва слагается въ умѣ затѣхъ, на плечахъ которыхъ лежитъ тяжелый крестъ власти и отвѣтственности передъ гигантскимъ народомъ... И да хранитъ лично насъ Господь отъ терній и шиповъ власти!..

„Какъ надо понимать“, думалось мнѣ: „что генераль Гурчинъ былъ „плохимъ полякомъ“, котораго должна была осудить даже по смерти его р.-к. церковь? Въдь и ее, Элизу Орженско, надо думать, настоящіе польскіе патріоты считали же одно время „дурной полькой“, чуть-ли не преступницей.. Надѣется-ли она, что святой р.-к. костель проститъ ей, хоть за гробомъ, былія ея прегрѣшенія вольныя и невольныя?? Или онъ уже простилъ ей ихъ, во имя какихъ-то невѣдомыхъ мнѣ подвиговъ?“

Все это и многое другое роилось въ моей головѣ, пока вслушивался я въ слова той, иной, Элизы Орженско-Нагорской, которая изъ-за Муравьева встала вдругъ предо мною, заслонивъ на мгновеніе фигуру гуманистки и женщины.

А Л. Н. Толстой...

Я зналъ уже, что къ большинству произведеній Элизы Орженско ясно-полянской аскетъ относился, какъ къ дамской литературной стряпнѣ, изъ которой хлѣба не испечь и шубы не скроить, т. е.

недоброжелательно и съ осужденіемъ, какъ относился и къ моимъ литературнымъ начинаніямъ.

Знала-ли она о такомъ къ ней отношеніи сама? Но, и въ этотъ разъ въ ея словахъ по адресу суроваго русскаго моралиста звучали ноты искренняго преклоненія...

И вотъ, наконецъ, я почувствовалъ, что между нами все сказано, что надо уходить. Меня, если не тепло, то милостиво поцѣловали въ лобъ. Послѣдній прощальный взглядъ мой, скользнулъ по оригинальной обстановкѣ гостиной, по направленію къ тѣмъ, кто затаился и подслушивалъ. Дверь закрылась за мною, какъ мнѣ показалось тогда, съ недружелюбно - демонстративнымъ стукомъ.

Несмотря на примиряющіе аккорды послѣднихъ моментовъ нашего, только что описаннаго, свиданія, я все же вышелъ на улицу съ предчувствіемъ, что, какъ ни обманывая себя, а сейчасъ, повидимому, оборвалась, оставшись навсегда, навсегда недочитанной, одна изъ лучшихъ, благоухающихъ страницъ моихъ литературно-человѣческихъ отношеній...

„Надо избѣгать всячески перваго серьезнаго столкновенія, первой ссоры“, — рекомендуютъ обыкновенно молодымъ супругамъ, наученныя горькимъ опытомъ супружеской жизни, матроны.

Но развѣ тотъ же совѣтъ неприложимъ, вообще, къ человѣческимъ отношеніямъ?.. И развѣ у меня произошла ссора?!

Проклятая, ненавистная мнѣ политика!..

Затѣмъ, судьба грубо, жестоко, несправедливо оторвала меня отъ дорогаго мнѣ Сѣверо-Западнаго края, забросивъ въ далекій, хотя и родной мнѣ, но невѣдомый, въ тѣ дни, Смоленскъ: въ 1903 году принужденъ я былъ покинуть Вильну. И удалили меня не поляки, а свои, русскіе, люди.

До меня доходили слухи о болѣзни Элизы Оржешко, отрывающей ее отъ остальнаго міра. Тѣмъ не менѣе, я не могъ уѣхать изъ Вильны, не пославъ ей, столь тепло относящейся къ моему творчеству, послѣдняго „прости“ и написалъ ей теплое письмо, поблагодаривъ за ласку и любовь. На него отвѣта я не получилъ; о личномъ же свиданіи, среди бурь и невзгодъ, ворвавшихся въ личную мою жизнь, и думать было нечего.

Мнѣ не хочется вѣрить, что это было молчаніемъ неискренняго, метительнаго врага: мало ли что мѣшаетъ, иногда, написать, во-время, нѣсколько строкъ, а тамъ, глядишь, и отвѣчать уже поздно...

Когда я вернулся, черезъ нѣсколько лѣтъ, въ Вильну, мнѣ все грезилась еще возможность встрѣчи и воскрешенія, въ дружеской бесѣдѣ, прошлаго: хотѣлось бы мнѣ, именно ей, столь чутко понимавшей въ былые дни меня, какъ человѣка, сказать, что я все тотъ же, какимъ она меня раньше знала.

Я не былъ уже, однако, тогда военнымъ слѣдователемъ, имѣвшимъ ранѣ казенныя командировки въ Гродну, а потому часто туда заглядывавшимъ. Вѣхать же нарочно, для посѣщенія больной женщины, казалось мнѣ и рискованнымъ, и неделикатнымъ.

Время, между тѣмъ, шло...

Года два тому назадъ я захотѣлъ посѣтить въ Вильнѣ польскій музей, въ домѣ графини Пржедецкой, за Желѣзнымъ мостомъ.

Пославъ свою визитную карточку, стоящему во главѣ учрежденія доктору Загорскому, я увидѣлъ его, вскорѣ, любезно сходящимъ ко мнѣ въ прихожую по лѣстницѣ.

Оказалось, что наверху, въ музеѣ, сидитъ Элиза Оржешко и что она съ нимъ, Загорскимъ, должна сейчасъ вѣхать въ городской театръ, гдѣ нарочно, въ честь ея,

состоится представление польской труппы.

Дѣйствительно, у подѣзда стояли экипажи и сверху, изъ музея, доносился до меня, знакомый мнѣ столь хорошо, звучный, пріятный голосъ писательницы и смѣхъ ея, сразу же воскресившій въ памяти моей всю эпоху нашихъ отношеній, вплоть до послѣдней, роковой встрѣчи.

Конечно, я могъ бы, пользуясь случаемъ, просить почтеннаго доктора, съ надеждой на успѣхъ, напомнить обо мнѣ дорогой, рѣдкой гостьѣ Вильны, пожалуй, добиться возможности еще разъ взглянуть въ ея дивные глаза, пожать, поцѣловать ея аристократическую ручку, но изъ чувства понятной деликатности я этого не сдѣлалъ.

И въ настоящее время думаю, что поступилъ, пожалуй, благодарно, такъ какъ нѣсколько позднѣе, когда Элизы Оржешко уже не было въ живыхъ, тотъ же д-ръ Загорскій передавалъ мнѣ, что, будто бы, сидя тогда въ музеѣ, узнавъ о моемъ посѣщеніи, покойная упомянула о происшедшемъ между нами изъ-за Муравьева недоразумѣніи: по ея словамъ, я обманулъ ее, притворяясь, что люблю польскій народъ, а, на самомъ дѣлѣ, оказался его ненавидящимъ, его злѣйшимъ врагомъ.

Съ другой стороны, мнѣ по временамъ все таки жаль, что не состоялась наша встрѣча въ музеѣ, опять таки, въ присутствіи „благородныхъ“ свидѣтелей: иногда экспромты жизни выходятъ удачнѣе дипломатически обдуманыхъ аудіенцій...

Быть можетъ, мнѣ удалось бы договорить при этомъ, то, чего я не успѣлъ высказать, во время нашего послѣдняго свиданія въ Гроднѣ.

Если бы Элиза Оржешко повторила, напримѣръ, мнѣ въ глаза то, что передалъ мнѣ ея другъ, докторъ Загорскій, т. е. что будто

бы я обманулъ ее, я, положивъ руку на сердце, сказалъ бы ей, что ненавиждѣть весь какой либо народъ и бессмысленно и несправедливо; что никогда не питалъ ненависти ни къ полякамъ, ни къ ихъ культурѣ, ни къ ихъ религіи, а боролся и буду убѣжденно бороться до гроба лишь съ болѣзненно-уродливымъ наростомъ на тѣлѣ польской націи, съ польско-иезуитской пропагандой; что, наконецъ, у меня не было ни смысла, ни повода, ни корысти, притворяться и обманывать ее, Элизу Оржешко. Хотя, какъ я уже это подчеркивалъ ранѣе, вплоть до послѣдняго нашего свиданія, политика никогда не являлась почвой нашихъ сношеній, но вольно же ей, Оржешко, было вообразить себѣ, что я могу быть измѣнникомъ моей родины, Россіи. Она, Оржешко, цѣнила во мнѣ только таланты, только человѣческія достоинства, не спрашивая меня, муравьевецъ ли я, или нѣтъ.. Она же, какъ бы умышленно, избѣгала заглядывать мнѣ въ совѣсть, предчувствуя, что оттуда можетъ появиться призракъ, пугающій всякаго правовѣрнаго поляка.

И всѣ ея отвѣтныя письма, на мое имя, служатъ лишь данью уваженія моему литературно-человѣческому достоинству, а не разбору моей политической вѣры.

Я сказалъ бы ей, также, что если я люблю, уважаю ея Польшу, то еще болѣе люблю и чтю мою Россію; что если понятна, близка мнѣ Польша, то еще ближе и дороже культура русская; что, желая блага Польшѣ, я еще искреннѣе желаю ея Россіи; что я солгалъ бы, если бы сталъ утверждать противное, а она, Элиза Оржешко, имѣла бы тогда полное право презирать меня, какъ презиралъ бы ее я, увидѣвъ, что она обманываетъ меня, если бы стала увѣрять, что любитъ русское, ставить его выше своего, родного польскаго.

Пользуясь ея способомъ обвине

ній, развѣ не могъ бы я сказать ей, Элизѣ Оржешко, что и она обманула меня, скрывъ свои политическіе взгляды, ставя выше политики обще-человѣческіе идеалы? Но подобный упрекъ былъ бы съ моей стороны и несправедливъ, и нелогиченъ.

Неужели же, наконецъ, мой талантъ, признанный ею, вдругъ... потускнѣлъ или погасъ, а самъ я, какъ человѣкъ, сталъ недостойнымъ ея уваженія и любви изъ за того только, что мы разошлись въ нашихъ политическихъ убѣжденіяхъ?!

Мнѣ ясно, что тутъ въ наши отношенія ворвалась та же польско-іезуитская пропаганда, которая вѣчно стоитъ и между двумя брагскими славянскими народами, отодвигая надолго, быть можетъ до безконечности, время, когда культурные русскіе и поляки дружно сойдутся, подъ охраною русскаго двуглаваго орла, на одномъ пути, — на трудовой, самоотверженной жизни, для одного и того же младшаго брата бѣлорусса или литвина.. Отъ подобнаго слиянія двухъ противоположныхъ культуръ являлось бы небывалое, великое благо и для всего человѣчества.

Но кому то было зазорно, что полька Элиза Оржешко протянула руку русскому патриоту; ей подчеркнули, вѣроятно, что тутъ можно заподозрить еще разъ искренность, чистоту польскаго ея патриотизма, и она, чуткая къ подобнымъ напештиваніямъ со стороны, помнящая еще былую травлю противъ нея, воздвигнула въ прошломъ, посвѣшила выказать себя

демонстративно жертвою какого-то обмана. Меня оклеветали, гнусно, изподтишка, а, главное, нелогично и глупо. О, какъ хорошо знакома мнѣ эта система сыска и натравливанія!..

Недаромъ же, зная окружающую ея среду, ставила Элиза Оржешко вопросъ относительно возможнаго примиренія, даже, въ далекомъ будущемъ; не случайно, конечно, занесла въ мой альбомъ и вопросъ:

„Свершится ли это когда нибудь?“

Онъ, этотъ же жгучій вопросъ — упрекъ, болѣзненно томилъ мое сознание, когда, узнавъ о кончинѣ недавней моей доброжелательницы, молился я, на торжественномъ богослуженіи, по-русски, въ виленскомъ св.-Янскомъ костелѣ за упокой ея души, когда, напрасно, сиротливо, съ чувствомъ нравственнаго неудовлетворенія, искалъ эту великую, чистую, возвышенную душу, вдумываясь въ загадки и недомолвки посмертной выставки, посвященной памяти усопшей, въ Вильнѣ.

Увидимся ли мы еще съ Элизой Оржешко тамъ, за гробомъ, и, если „да“, то суждено ли будетъ мнѣ сказать ей, безъ поделушивающихъ насъ свидѣтелей изъ лагеря польско-іезуитской пропаганды, что я по прежнему благодарно чту и люблю ее, несмотря на разныя политическіе взглядовъ, какъ чту и люблю ея прекрасный народъ; что совѣсть моя въ отношеніи къ этому народу и ее, по прежнему чиста передъ людьми и Богомъ?!



A* 15, 1, 0

50k.

ר' מתתיהו שטראשון ז"ל

№ 15



8000000 1960662

פ"מ "הצדקה גדולה" בוילנה.